



Татьяна Владимировна Москвина В спорах о России: А. Н. Островский: Статьи, исследования

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=7062642

В спорах о России: А. Н. Островский: Статьи, исследования.: Лимбус Пресс; СПб.; 2009

ISBN 978-5-8370-0529-9

Аннотация

Для русской драматургии А. Н. Островский сделал ничуть не меньше, чем Шиллер – для немецкой и Расин с Мольером вместе взятые – для французской. Он – автор сорока семи пьес, большинство из которых уже сто пятьдесят лет не сходит с театральных подмостков и украшает репертуары как столичных, так и провинциальных российских театров.

В этой книге известный писатель, драматург и театровед Татьяна Москвина раскрывает перед нами грани неординарной личности А. Н. Островского, своеобразие его мышления и творчества, попутно анализируя последние театральные постановки и экранизации пьес великого драматурга, которого при жизни в московских и петербургских императорских театрах восхищенно называли «наш боженька».

Содержание

| | |
|--|----|
| «Наш боженка» | 4 |
| Часть первая | 6 |
| Личность Островского: очерк проблемы | 6 |
| Жизнь – судьба | 8 |
| Ум | 11 |
| Просто – непросто | 13 |
| Христианин – язычник, порядочный – стихийный | 14 |
| Замкнутый – общительный | 16 |
| Самолюбивый – скромный | 17 |
| Здоровый – больной | 19 |
| Добродушие – желчь | 20 |
| Агафья Ивановна, Марья Васильевна, Николай | 22 |
| Добролюбов, Аполлон Григорьев | |
| Мужское – женское | 23 |
| Обыкновенный – необыкновенный | 24 |
| Островский – Россия | 25 |
| Бог в творчестве Островского | 27 |
| 1. Духовный быт и обиход русского народа в драматургии | 29 |
| А. Н. Островского до «Грозы» | |
| 2. Грозный палач, милосердный судья. Бог | 37 |
| «Грозы» (1859) | |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 42 |

Татьяна Владимировна Москвина В спорах о России: А. Н. Островский: Статьи, исследования

«Наш боженька» *Предисловие автора*

«Наш боженька» – так, уважительно-ласкательно, называли Островского актеры Малого театра.

Не всевластный Господь, не всеведающий Бог, а кто-то, хоть и божественный, но милый, близкий, родной. Гений словесности, а возится с театром, как исправная хозяйка с родным домом. Ведь с его голоса многие артисты делали свои роли – жаль, не оставила нам история этого голоса, не было соответствующих возможностей.

Но «метафизический голос» этого «боженьки» звучал и звучит в русском театре всегда, и Островский – не только основа национального репертуара, но и материал для любых театральных экспериментов всех времен.

Уж с чем-чем, а с главным драматургом, с демиургом национального театра, русским повезло никак не меньше, чем французам с Мольером, а германцам с Шиллером. Он оставил своему народу театр из почти полусотни пьес всех жанров: комедии, мелодрамы, высокие драмы, исторические сочинения. Наконец, он дописал, досложил недосложенный славянский пантеон богов и создал «Снегурочку» – главный русский миф. (Таким образом, русские – единственная нация на свете, которая знает по имени создателя своего мифа!)

Как и Россия на исторической сцене, Островский появился на драматургическом поприще довольно поздно, когда все главные герои мирового театра уже показали себя в полном блеске. До конца жизни Островский сказывался прилежным учеником мирового опыта драмы и в минуты отдыха обычно переводил что-нибудь из итальянцев или Шекспира, объясняя, что это у него нечто вроде «взаянья». Написав «Бешеные деньги», гордился, что сладил-де пьесу «не хуже французов», и действительно, «Бешеные деньги» как камерная салонная комедия и по ведению действия, и по раскрытию характеров, и по блеску реприз – сложены с фантастическим мастерством. Как настоящий русский гений, Островский великолепно усваивал и преображал все чужие (в смысле – не в России изобретенные) ментальные формы. Но, конечно, любим мы его не за это.

Любим мы его за то, что он написал для нас целую страну. Она тоже называется Россия, но на этой России всюду стоит имя ее создателя – это Россия Островского.

В виде десятков томов она стоит на полках библиотек; разыгранная актерами – живет, худо ли, хорошо ли, на сцене и экране. Она рядом, тут, под рукой, и, чтобы оказаться в этой стране, не надо виз и капиталов. И вот именно эту страну, Россию Островского, я полюбила давно, навещаю часто и живу в ней подолгу и обстоятельно.

Мне здесь хорошо. Да только ли мне! Как должен извертеться и запакоститься человек, чтоб его душа не отзывалась на Россию Островского! Ведь в этой стране, какие трагедии и комедии бы там ни свершались, в начале улицы стоит церковь, а в конце – городской, и это не декорации без содержания, а основа этого мира, его Закон. Россия Островского создана по Закону, жившему в душе ее создателя, и создана при этом не в виде ментальной абстракции, а во всем великолепии подробностей живого Бытия.

Чтобы рассказать об этой стране, никак не хватит одной книги, да и одну книгу мне не удалось написать толком. То, что я предлагаю вниманию читателя, – разрозненные «очерки

путешественника», написанные в разные годы и с разной степенью обстоятельности и проникновения в материал.

В первой части собраны очерки, посвященные собственно творчеству А. Н. Островского – его личности, образу Бога в его драмах, его историческим сочинениям, феномену пьесы «Снегурочка».

Во второй части – статьи, написанные по впечатлениям от постановок пьес Островского на сцене и экране примерно за последние двадцать пять лет. В этой части нет полноты научного исследования – это обобщения сугубо личного зрительского опыта.

В любом случае заинтересованный читатель может обратиться к другим исследователям и критикам, я не одна такая «путешественница в Россию Островского». Хотя, конечно, нас – не тех, кто путешествует, тех по-прежнему в изобилии, а тех, кто об этих путешествиях пишет записки, – в современности не больно-то и много.

Автор прекрасно понимает, что сделано недостаточно, однако что-то все-таки сделано и может найти своего читателя. Ведь мною в этих очерках руководила любовь – а то, что натворила любовь, всегда интересно, даже в своих ошибках и заблуждениях.

Татьяна Москвина

Часть первая Он

Личность Островского: очерк проблемы

Островский не принадлежит к числу забытых или неочененных писателей. Без малого сто пятьдесят лет его пьесы живут на русской сцене, а жизнь и творчество изучаются многочисленными исследователями. Театр никогда не отвергал Островского: в любую эпоху отечественной истории театральные деятели противоположных убеждений обращались к текстам драматурга; с развитием кино и появлением телевидения область применения Островского расширилась; критические попытки развенчать или отрицать творчество драматурга никогда не были успешными, а начиная с 1920-х годов и вовсе прекратились. В числе вечных и великих Островский ведет золотое хрестоматийное существование.

Человеку, собравшемуся прочесть все, что написано об Островском, пришлось бы отдать этому занятию несколько месяцев упорного труда. И надо сказать, человеку сему трудно позавидовать. Ему повезет значительно меньше, чем тому, кто решит просто прочесть подряд все сочинения Островского. Этот последний вряд ли получит что-либо, кроме удовольствия. Первому же придется и немало поскучать. Он узнает много полезного и немного интересного.

Изучив некоторые биографии Островского, современный читатель, знакомый с лучшими образцами искусствоведческой мысли второй половины XX века, вправе задаться вопросом: не зародился ли А. Н. Островский на свет каким-то особым образом в виде собрания своих сочинений, с комментариями Добролюбова и Ап. Григорьева на добавку?

Существовал ли в самом деле такой человек?

Очень уж часто Островский выглядит своеобразным «медиумом», при посредстве которого русская жизнь писала саму себя в драматической форме. Этот исполнительный, трудолюбивый медиум будто лишен собственного лица, черты его стерты, тусклы, как из тумана выплывают отдельные малоинтересные свойства – добродушие... работоспособность... страсть к рыболовству.

Однако никак не скажешь, что Островскому не повезло на исследователей. Изучением его жизни и творчества занимались и солидные ученые, кропотливые собиратели фактов (Н. Кашин, А. Ревякин, Е. Холодов, другие), и «писатели о литературе», не лишенные игры воображения, полета мысли (Н. Эфрос, А. Кугель, В. Лакшин, М. Лобанов). Популярную беллетристическую книгу об Островском написал Р. Штильмарк, один из крупных отечественных беллетристов, автор «Наследника из Калькутты»¹. Но не зря предупреждал Н. Эфрос: «Из жизни Островского не сделать ни драмы, ни комедии, весьма и весьма плохо поддается эта жизнь и этот человек на беллетристический подход к себе»².

И не только на беллетристический – пожалуй, что и на любой. В 1970-е годы вышли две большие книги о жизни Островского, книги, по-разному учитывающие всю сумму известных фактов: в серии «Жизнь в искусстве» – В. Я. Лакшина, в серии «Жизнь замечательных людей» – М. П. Лобанова. У этих разнонаправленных книг есть общая черта: их можно назвать книгами о времени, в котором жил Островский, и о людях, которых знал Островский. Обо всем этом читатель получает ясное представление. Сам Островский так и остается

¹ См.: Штильмарк Р. А. За Москвой-рекой. М.: Молодая гвардия, 1973.

² Эфрос Н. Е. А. Н. Островский. Пг.: Колос, 1922. С. 20.

«вещью в себе». Те, кто жил вместе с ним, получают под пером Лакшина, равно как и в изображении Лобанова, более яркими и рельефными – что М. Погодин, что Ап. Григорьев, что Ф. Достоевский... Я никак не хочу усомниться в колоритности незаурядных, а часто и гениальных людей, живших в эпоху Островского. Но невозможно примириться и с тем, что создатель русского театра как бы оказывается лишен личностного колорита. М. Лобанов выходит из затруднительного положения, объясняя Островского тем, что тот был русский и любил все русское. Так и Некрасов вроде как не финн, и Лев Толстой не француз – а, кстати сказать, любить «все русское» может и иноземец, даже, как кажется, ему это пристойнее будет.

Если исследователь всерьез работает над изучением личности Островского, он сразу предупреждает о некоторой ее загадочности: и восстановить, и понять образ Островского трудно. «Островский мало помог своему биографу, – пишет В. Лакшин. – В его поведении нет и намека на величавую историческую поступь. Он никогда не гляделся в литературное зеркало, не стремился себя запечатлеть и показаться с выгодной стороны в глазах потомства. Не писал дневников и писем в расчете на посторонние глаза»³.

Можно и еще добавить: не отвечал на критику, не вступал в полемику, не писал публицистических статей, не подписывал коллективных протестов, избегал публичных выступлений с речами...

Мудрено ли, что потомки разводят руками, когда и современники были в недоумении. «Мы не знаем, – писал критик

А. Урусов в 1881 году, – каковы его идеалы, какие его религиозные и поэтические убеждения. Он пишет себе комедии, без всяких предисловий, и больше ничего. <...> Отец семейства, на вид кажется человеком коренастым и здоровым, пользуется умеренным материальным благосостоянием, добытым честным литературным трудом; зимою живет в Москве, летом – у себя в деревне. Вот и все»⁴.

А вот слова П. Боборыкина: «О нашем драматурге мы знаем чрезвычайно мало. <...>... трудно даже определить, под какими умственными, социальными, эстетическими влияниями развился он как писатель и гражданин. <...>... неопределенность интеллигентной физиономии»⁵.

Эти речи напоминают донесение московского обер-полицмейстера, сделанное им в 1850 году графу А. Закревскому. Обер-полицмейстер выразился о нашем драматурге так: «Поведения и образа жизни он хорошего, но каких мыслей – положительно заключить невозможно»⁶.

Кстати, и А. И. Урусов, и П. Д. Боборыкин лично знали Островского много лет. Кажется, отчего не спросить, коли что неясно. Островский не был болтлив, но и молчуном его никак не назовешь. Видимо, недаром журналистика сформировала впоследствии жанр интервью – чтобы не было более подобных личностных загадок.

Однако, воля ваша, в поведении Островского видна своеобразная «программа». Его публичные проявления строго отмерены и жестко скомпонованы в едином направлении.

Я называю эту программу «антилирической», понимая, что читатель потребует тут разъяснений. Лирический способ творческой жизни предполагает, что человек не только обнаруживает, но и обнаруживает определенным образом свою личность, обнаруживает-обнаруживает сам процесс ее бытия. Когда «уединенное», «сокровенное» издается тысячами

³ Лакшин В. Я. А. Н. Островский. М.: Искусство, 1976. С. 3–5.

⁴ Порядок. 1881. 22 января.

⁵ Боборыкин П. Д. Островский и его сверстники // Слово. 1878. № 8. Август. Отд. II. С. 44.

⁶ Цит. по: Коган Л. Р. Летопись жизни и творчества А. Н. Островского. М.: Госкультпросвет, 1953. С. 39.

тиражами – это есть лирика; активное самовыражение творца в общественной жизни – тоже лирика. Островский отдавал миру только результат. Остальное – спрятано.

Н. Е. Эфрос, находя краткие и гладкие определения для жизни и личности Островского, все-таки точно почувствовал неладное: «Спокойная зоркость и спокойные чувства, умудренная и умиротворенная любовь к жизни... <...>...таким глядит художник из своих драм... <...>...и таким он был в действительности. Или слишком глубоко затаил правду своей природы, так глубоко, что осталась она неразличимой для всякого постороннего глаза, даже неугадываемой. И знаем мы пока не подлинное лицо – лишь маску. Но вряд ли так...»⁷

Да, казалось бы, «затаил» – какое-то сложное, хитроумное действие, никак не вяжущееся с обликом Островского. А если предположить, что неприязнь к лирическому самообнаружению и публичному самовыставлению – вне творчества – была не рассудочной программой, но органическим, естественным свойством натуры?

Какой тугой и, видимо, горестный житейский узел сплелся в конце 1850-х – начале 1860-х годов во взаимоотношениях Островского и его первой жены Агафьи Ивановны, Островского и Л. П. Никулиной-Косицкой, Островского и Марьи Васильевны, будущей второй жены. Обыкновенный литератор вряд ли удержался бы от подробного изложения своей душевной жизни – хотя бы в письмах к друзьям.

В. Я. Лакшин перечисляет все имеющиеся отклики Островского на болезнь и смерть Агафьи Ивановны⁸.

Он страдал, он болел, в это время произошли резкие изменения во внешности, и Островский стал тем солидным бородатым старцем, каким и представляется сейчас.

Но что он думал, что переживал – никаких свидетельств, кроме пьес, где любящая и страдающая женщина будет им обласкана и воспета десятки раз. Неужто не имел он потребности выговаривания своих дум и чувств иначе как в творчестве? Или воспитал в себе духовную дисциплину такой невероятной силы, что она подминала и уничтожала все нетворческие проявления?

Тайна личности Островского, покуда не востребованная в полной мере отечественным искусствоведением, конечно, не будет и сейчас разгадана. Моя цель – через размышления о личности Островского и его творческом мире выявить главные особенности национального самосознания, национальной истории, национального характера. Потому основное тут – точка отсчета, угол зрения, построение своей цепи рассуждений. Нелишне и договориться заранее об аксиоматических положениях – о тех постулатах, которые я не буду доказывать за... невозможностью доказательства. Уговоримся с читателем о том, что сила и красота творений Островского исходили из силы и красоты его личности; что гений Островского не был бриллиантовой подвеской на блеклом основании; что его пьесы не сами собой рождались, но были написаны человеком, одним человеком; что, не имея потребности навязывать себя миру, Островский был таинственным и прекрасным результатом великого труда, в том числе и труда над собой; что то был исполинский ум, при соприкосновении с которым не одно поколение людей чувствует трепет изумления и восторга.

Жизнь – судьба

А. Н. Островский (1823–1886) прожил шестьдесят три года – не много и не мало, точно, и в этом ему была отпущена мера и соблюдена «золотая середина».

Одним из первых дал общую оценку главных свойств этой жизни профессор Ж. Патуйе, выпустивший в 1912 году свой обширный, старательный труд «Островский и его

⁷ Эфрос Н. Е. А. Н. Островский. Пг.: Колос, 1922. С. 25.

⁸ См. об этом: Лакшин В. Я. А. Н. Островский. М.: Искусство, 1976. С. 353–354, 417–422.

театр русских нравов». Он пишет о жизни драматурга: «Она протекала без примечательных происшествий, без резких кризисов, подвигов мысли и веры, как это было у Гоголя и Льва Толстого. Ни шумных доктрин, ни политических пристрастий. Наконец, ни суда, ни тюрьмы, ни ссылки»⁹.

В биографии Островского – славной, но сравнительно спокойной – действительно, ни тюрьмы, ни ссылки, ни войны, ни дуэли, ни сумасшествия... В высшей степени достойная жизнь, но будто вот просто жизнь, а не биография русского гения. Конечно, Островский прожил русскую жизнь – то есть под бременем определенных мук и тягот, но до крайностей не доходило.

Это отсутствие крайностей подвигло иных исследователей, избалованных русским трагизмом, на определение жизни Островского как скучной, благополучной, ничем особо не примечательной. Мнение Н. Е. Эфроса: «Тихо, вяло плетущаяся жизнь, однообразная и однотонная... не знающая ни бурь, ни взлетов, ни срывов; буднично благополучная или так же буднично опечаленная... серая жизнь»¹⁰. Это пишется в 1920-х годах, когда русский мартиролог XIX века был хорошо известен и шло активное пополнение в мартиролог века XX: на фоне катастрофических писательских судеб бытие Островского действительно могло показаться оазисом «скучного благополучия». Приняв трагедию за норму русского существования, конечно, можно и отмахнуться от «скучного» Островского. XIX век с его идеей «счастья для всех», однако, не признавал трагедию за норму, и современники Островского смотрели на его жизнь совсем другими глазами. Хорошо написал об этом в частном письме А. И. Урусов: «Он весь высказался, весь перешел в художественные создания, из которых многие бессмертны. Он был в этом отношении – да и в других тоже – счастлив. И умер без мучительной агонии. И это счастье»¹¹. Урусов не сравнивает судьбу Островского с судьбами русских гениев, но прилагает к ней обыкновенные мерки, какими люди меряют жизнь друг друга. И на месте унылых слов о вялой, серой жизни появляется иное слово – Счастье.

Вот и стала понятна теперь нота растерянности или даже раздражения у некоторых пишущих об Островском: проще описывать несчастную, катастрофическую жизнь, сложнее обдумать жизнь счастливую. Еще сложнее понять взаимоотношения этой личности и ее судьбы.

К примеру, Урусов пишет о счастливой, легкой смерти Островского – «умер без мучительной агонии». Современникам было с чем сравнивать: после мучительной агонии скончались Некрасов, Тургенев, Достоевский. Легкая смерть – чистый подарок судьбы? Или возможно как-то ее заслужить? Оно, конечно, нашему «жалкому, земному, эвклидовскому уму» вряд ли такие вопросы под силу. Но можно ли оспорить то, что в жизни и смерти художников, сотворивших нечто бессмертное, есть своя композиция. Мы можем не знать ее законов, но она живо чувствуется.

Островский имел определенную власть над своей судьбой. Именно это, пожалуй, самая характерная черта его жизни, а не отсутствие крайностей вроде тюрьмы или дуэли. Таких крайностей не было и у других крупных литераторов – у И. Гончарова, у Н. Лескова (правда, у них были трудности в связи с их самоутверждением в литературе). Самая сильная выходка судьбы (по отношению к Островскому) – это нога, расшибленная во время экспедиции по Волге (1856 год). Казалось бы, мелкий случай из личной жизни. Но не странно ли, что упавший и придавивший ногу тарантас по времени совпадает с обострением клеветнической кампании по обвинению Островского в плагиате, кампании, возглавленной Д. Горевым и

⁹ Patouillet J. Ostrovski, et son theatre de moers russes. Paris, 1912. P. 6.

¹⁰ Эфрос Н. Е. А. Н. Островский. Пг.: Колос, 1922. С. 19.

¹¹ Письмо А. И. Урусова Н. А. Никулиной // Литературное наследство. Т. 88. Кн. 1. М.: Наука, 1972. С. 635.

поддержанной многими литераторами и даже артистами¹². Словно из туч злобы и зависти грянула молния, сумевшая нанести Островскому не только нравственный удар, но и физический.

Нога зажила, клевета рассеялась. Подобных внезапных ударов судьбы Островский, пожалуй, более не получал. Похоже, что и к течению своей жизни, и к ходу своей судьбы он относился с усердным вниманием, имея на то убеждения «для собственного употребления» (его выражение из пушкинской речи 1880 года). Примечательна своим изяществом автобиографическая заметка Островского, сделанная им в альбом Семевского. Как известно, в ней драматург подробно рассказал об особенной и роковой роли в его жизни... числа «14»¹³. Довольно трудно себе представить, чтобы подобное несерьезное заявление вышло из-под пера Щедрина, Достоевского или Толстого. На мой взгляд, эта заметка показывает нам живо и наглядно, конечно, не мистицизм или особую суеверность драматурга, а его тщательную приглядку к своей жизни, к взаимоотношениям жизни и судьбы в поисках каких-то законов или хоть закончиков. Разумеется, надо учесть и шутливость нашего драматурга, и его постоянную «уместность» – точное чувство того, что и как надо делать в том или ином случае, например длинных речей за обедом не говорить, а в альбом писать изящную бездельницу. Однако отчего такую бездельницу, не другую – тоже вопрос.

Законы судьбы не могли не волновать Островского – ведь он в творимом им мире был главное лицо, демиург и человеческими судьбами распоряжался по своему усмотрению. Он знал, как из-за людской беспечности, легкомыслия или дурного своеволия складывается неумолимый приговор. И он не был беспечен.

Свой «антилиризм» – как жизненную программу – он выработал, очевидно, в молодости. Во всяком случае, в его рецензии на повесть Писемского «Тюфяк» (1851) есть поразительное замечание. «В этом произведении вы не увидите ни любимых автором идеалов, – пишет Островский, которого во всю жизнь подозревали как раз в отсутствии “идеалов”, – не увидите его личных воззрений на жизнь, не увидите его привычек и капризов, о которых другие считают долгом довести до сведения публики. Все это только путает художественность и хорошо только тогда, когда *личность автора так высока*, что сама становится художественною» (разрядка моя. – Т. М.¹⁴).

Рискну утверждать, что редкий художник воздвигает между собою и обществом фильтр подобной силы! Запрещены все нехудожественные проявления личности. Можно пойти и несколько далее, предположив, что этот «фильтр» Островский установил и за пределами искусства.

Сделать свою личность художественною – пожалуй, следы такой работы можно угадать в нашем таинственном драматурге. И если в ранней молодости дело ограничивалось слабостью к щегольской одежде и рассматриванию себя в зеркале (а что ж, и это первые шаги к превращению себя в произведение искусства), то зрелые годы характерны исключительной силой внутренней отделки, обдуманностью всех проявлений.

Он избегал торопливых речей, ненужных слов, путаных дел, темных историй; политика и особенно болтовня о ней отвращали его – видимо, своей полной антихудожественностью; он всесторонне обдумывал людей и никогда не доверялся случайным собеседникам; он брал на свои плечи все, что взваливала жизнь, и никогда и ни от чего не отказался, не увильнул, не схитрил. Он, своим разумом преобразавший материю жизни в божественное искусство, будто стремился продлить сие благодетельное преобразование и далее. Во всяком слу-

¹² См. об этом: *Лакишин В. Я.* А. Н. Островский. М.: Искусство, 1976. *Лобанов М. П.* Островский. М.: Молодая гвардия, 1989.

¹³ См.: *Островский А. Н.* Полн. собр. соч.: В 12 т. М.: Искусство, 1973–1980. Т. 10. С. 461–462.

¹⁴ Разрядка заменена на курсив – *Редактор электронного издания.*

чае, трудно не заметить одного важного свойства его деятельности – стремления расширить возможную сферу своего влияния. Мало писать и печатать «пизэсы» – надобно их играть, воздействуя таким образом на значительно большее количество умов (у Островского есть рассуждения на эту тему, что-де напечатанное становится достоянием одной лишь интеллигенции, а этого недостаточно). Мало быть драматическим писателем – надобно создать общество драматических писателей. Мало быть только лишь зависимым, гонимым драматургом – надобно подчинить своему воздействию весь театр. Внести в жизнь как можно более закона, порядка, композиции, то есть начатков художественности, – вот генеральное желание Островского.

И хаотическая стихия поддавалась воле гения – нехотя, а поддавалась.

У Александра Николаевича Островского и его брата Михаила Николаевича была, как мне кажется, общая жизненная пружина – общая с их отцом Николаем Федоровичем.

Тот, выйдя из бедности, умер дворянином, помещиком и домовладельцем, но хлопоты его были материальные, сконцентрированные на нем самом и делах семейства. Александр Николаевич и Михаил Николаевич отличались неспешным, постепенным самоосуществлением – вплоть до достижения высшего положения в избранной сфере. М. Н. Островский достиг высшего чина в российском государстве – чина действительного тайного советника, но и А. Н. Островский тоже некоторым образом достиг «высшего чина» в избранной им сфере деятельности. Существовала, видимо, и генетическая программа, так своеобразно претворенная драматургом...

Повторю: Островский не оставил потомкам подробной объяснительной записки насчет своих взаимоотношений с судьбой. Можно, однако, изучив его творчество, примерно понять, какие были его представления о действии сей мировой силы. В его пьесах судьба ведет себя иррационально по отношению к людям, пребывающим в счастливой бессознательности: может ударить или обласкать равно беспричинно. Чуть только проблеск сознания – иррациональность съезживается, освобождая некоторое место и для причинно-следственной связи, и для законов – не арифметических, вестимо. Это Елесья Мигачев («Не было ни гроша, да вдруг алтын», 1871), художественный родственник Миши Бальзамина, может найти под деревом пачку денег. Иоасаф Наумович Корпелов («Трудовой хлеб», 1874), нищий учитель, образованный человек горькой судьбины, никогда никаких денег нигде не найдет. А если сознание и самосознание человека развиты до высшей степени, так, что он горазд выстроить и самую свою личность по законам художественной композиции – а так, очевидно, было у Островского, – не вступит ли в силу закон обратного влияния? Не получит ли человек долю законной власти над судьбой?

Вот он идет, наш честный труженик, смолоду пользующийся широкой и прочной славой, в окружении детей и друзей, приветливый и веселый, ловить рыбку в собственном поместье... Какая-то олеография, ей-богу, воскресная проповедь, недосмотрела тут русская жизнь, как она допустила эдакий лубок, удружила, нечего сказать, будущим биографам – так, что им и писать, понимаете, неизвестно о чем.

Ум

Прежде чем перейти к подробному рассмотрению личности А. Н. Островского, отмечу, что то был человек большого и оригинального ума, признанного, кажется, всеми современниками. Пресмешно отозвался о нем А. Дружинин: «Умный до ужасающей степени»¹⁵. Островский, до старости лет востривший и развивавший свой ум, ценил деятельность человеческого разума во всяких видах, но он понимал ум по-своему, соединяя с понятием «ум»

¹⁵ Цит. по: *Лакшин В. Я.* А. Н. Островский. М.: Искусство, 1976. С. 303.

понятия «гений» и «талант». Интересен отзыв Островского о Щедрина – Островский спорит с теми, кто разделяет талант и ум: «Главное в нем ум; а что такое талант, как не ум?»¹⁶ Получается, по Островскому, что талантливый человек не может быть неумен, а умный – неталантлив. Странно! Оригинально! Но может, это случайный отзыв, хотя мой читатель, надеюсь, уже усвоил, что случайного и хаотического в Островском почти что не было. Неслучайность замечания о Щедрина доказывает текст застольного слова о Пушкине, произнесенного во время торжественного обеда в честь открытия памятника поэту в 1880 году.

Редкий случай: Островский выступает с публичной речью. Она подготовлена им тщательно, написана, он читает по бумаге. Здесь его убеждения, важные мысли, которые он счел достойными для обнародования – а стало быть, просеянные им сквозь жесткое сито. Ни слова о гении, о даре, о чуде – об уме, только об уме. «Первая заслуга великого поэта в том, что через него умнеет все, что может поумнеть... <...>...поэт дает и самые формулы мыслей и чувств. Богатые результаты совершеннейшей умственной лаборатории делаются общим достоянием... <...> Пушкиным восхищаются и умнеют... <...> Наша литература обязана ему своим умственным ростом... <...>...нам остается только желать, чтобы Россия производила поболее талантов, пожелать русскому уму поболее развития и простора...»

Островский проводит разделение между умом творческим и умом обыкновенным: творческий ум открывает и предлагает истины, обыкновенный ум усваивает, «и то не вдруг». Стало быть, творческий ум и есть синоним таланта и гения, по Островскому. (Отличительный признак творческого ума – предлагать истины. Значит, Щедрин, предлагающий истины, – творческий ум – талант, и дальнейшее дробление анализа творческих и художественных способностей человека Островский как бы полагает уже излишним.)

Творческий ум Островского выражался не только в творчестве и в умном-разумном отношении к собственной жизни – умны и метки его обычные житейские суждения, даже заметки для себя. Мне, к примеру, очень нравится одно суждение Островского относительно «искусства для искусства»: «Процессы обобщения и отвлечения не сразу даются мозгу: они должны быть подготовлены. Обобщения, представляемые искусством, легче воспринимаются и постигаются и, практикуя ум, готовят его к научным открытиям. <...> Чем искусство выше, отрешеннее, общее, тем оно более практикует мозг. Таким образом, “искусство для искусства”, при всей своей видимой бесполезности, приносит огромную пользу развитию нации».

Подобного суждения я нигде не встречала более ни в веке XIX, ни позже. «Искусство для искусства» обычно защищают с помощью понятий о свободе творческой воли, о праве художника на самовыражение, о недопустимости утилитарных критериев в оценке произведений искусства. Что оно «практикует мозг нации» (тоже удивительное понятие!) и, стало быть, полезно, – не припомню такого мнения и не берусь его опровергать: оно похоже на истину. Заметьте, Островский пишет для себя, для «собственного употребления», но как упруго, афористично, с пушкинской отчетливостью и точностью; видимо, изучал его критический стиль внимательно. (Зря недоумевал П. Боборыкин насчет того, будто неясно, под какими эстетическими влияниями развился драматург. Пушкинское влияние очевидно.)

Сейчас, когда уже намечены основные «вертикали» личностного устройства А. Н. Островского, мы перейдем к более детальному, по чертам, по свойствам, обдумыванию его индивидуального «космоса». Главная опора здесь – его пьесы, его письма и воспоминания о нем современников.

¹⁶ А. Н. Островский в воспоминаниях современников. М.: Художественная литература, 1966. С. 293.

Просто – непросто

«Физиономия Островского, – считает В. Лакшин, – плохо уловима из мемуаров, черты его расплываются. Белокурый, стройный, хорошо пел – рисует его один из воспоминателей. Смолоду грузный, рыжеватый, рано облысевший, никогда не слышали его поющим – настаивает другой... Надо сводить эти свидетельства на очную ставку, выверять, просеивать»¹⁷.

Черты расплываются? Но то, что приводит Лакшин в качестве примера «расплывчатости», есть два определенных портрета, которые каждый сам по себе и в этом качестве противоречат один другому. Значит, кто-то прав, а кто-то нет. Возможно ли, впрочем, ошибиться в собственном впечатлении? Ведь то впечатление, которое одна личность производит на другую, тоже есть своего рода неделимая единица и слагаемое этой личности. Из двух противоречащих друг другу свидетельств биографы Островского, как правило, исключают одно как неподлинное, ошибочное. Но точно ли это верный путь для постижения Островского – задаемся мы вопросом.

Возьмем воспоминания о молодой поре Островского кисти В. З. Головиной (Ворониной), они открывают книгу «А. Н. Островский в воспоминаниях современников». Головина познакомилась с Островским в 1849 году. Ее первое впечатление: «Белокурый молодой человек больше молчал и казался очень застенчивым и незанимательным, хотя смотрел на нас как-то не совсем просто». Его попросили прочесть пьесу, и он «очень мило и просто согласился»¹⁸.

Посмотрел непросто, а затем повел себя и мило, и просто. Конечно, это вовсе микропроявления, заметные одному придирчивому на мелочи девичьему глазу. Но подчеркну – микропроявления контрастные.

В этом самом первом воспоминании будто спрятан ключик, тайный «алгоритм» личности, загадочная «формула», развитие которой будет осуществляться во всю жизнь Островского.

Никогда и ни на кого не производил Островский впечатления раздвоенной, хаотической, мятущейся личности. «Цельный, гармонично устроенный, ясный», – вслед за многими определяет Н. Эфрос, приходя к выводу, что эта гармония необъяснима, она была дана Островскому как «подарок природы»¹⁹.

Я же считаю, что гармония личностного устройства драматурга была не даром, а результатом огромного труда и цельность, целостность были в какой-то мере завоеваны им и созданы. Даром было другое – я называю это «универсальный дар композиции».

Гармония – результат, композиция – инструмент; с помощью великого этого дара, дара упорядочивания, построения, согласования, соподчинения частей в целое, Островский превращал жизненные контрасты в драмы, а собственные разнонаправленные проявления – в целостность индивидуального мира. Дар композиции, могучий разум и тот деятельный свет души, что мы называем «добротою», соединяли множество противоречивых свойств Островского и контрастных проявлений его натуры в единый поток, как бы пронизывали своими мощными «вертикалями» обширную «горизонталь».

Рассмотрим теперь те контрастные проявления личности Островского, что удалось добыть из толщи фактов и мнений.

¹⁷ Лакшин В. Я. А. Н. Островский. М.: Искусство, 1976. С. 3.

¹⁸ А. Н. Островский в воспоминаниях современников. С. 30.

¹⁹ Эфрос Н. Е. А. Н. Островский. Пг.: Колос, 1922.

Христианин – язычник, порядочный – стихийный

Островский, видимо, очень рано воспринял основы христианской нравственности, и так живо, прочно и недвусмысленно, что во всю жизнь не имел соблазна ни богоискательства, ни атеизма. В основании его творческого мира лежат краеугольные камни, действительность которых не обсуждается, не подлежит сомнению. Трудно сыскать пьесу Островского, где не велась бы речь о Боге, Божьем суде, правде, грехе, совести, ответе – не нарочно, неназойливо. (Подхалюзин из «Банкрота» – и тот о совести рассуждает, и ловко.) «Чем же и свет стоит? Правдой и совестью только и держится» – похоже, что слова царя Берендея весьма близки и самому Островскому.

Он не находил никакой красоты во зле и вообще, как кажется, не питал к нему интереса. Даже демоническое (самое невинное, печоринского толка) ему было органически противно, и он из пьесы в пьесу высмеивал «красавцев мужчин», самолюбующихся и пустых.

И в нем самом не было ничего коварно-чарующего, обольщающего: великое обаяние Островского исходило, судя по всему, совсем из другого источника.

Моральное напряжение пьес Островского очевидно, но в этом он не был одинок. В эту эпоху жили великие моралисты, учителя, проповедники – Гоголь, Достоевский, Лев Толстой. Поведение Островского сильно отличалось от их пути. Важно понять, что тут никто не лучше и не хуже, никто не прав более другого, – нам нужно всего лишь выявить разницу, особость Островского. Он не искал Христа, подобно Достоевскому, не учил и не проповедовал, как Лев Толстой.

По свидетельству современников, Островский относился к учительству Толстого настороженно, чуть ли не враждебно – «что ты взялся умы мутить»²⁰, вообще строгое осуждение людских слабостей и пороков большим сочувствием драматурга не пользовалось.

В пьесе «Богатые невесты» (1876) Валентина Белесова, падшая, как раньше выражались, женщина, чудесно отвечает будто вот всем учителям, проповедникам нравственности: «В разговоре вообще стараются не показывать слишком явно своего умственного или нравственного превосходства над прочими. Надо щадить людей. Когда кто-нибудь с уверенностью полного мастера говорит об обязанностях человека – простые смертные, люди легкомысленные, такие, как я, должны думать, что этот урок относится к ним. <...> Ну, и конфузишься... торжествовать над нами легко. Но, мне кажется, и мы имеем право сказать учителю: да, мы легкомысленны, но мы не мешаем вам быть святым, не мешайте и нам быть грешными! Научить вы нас не научите, а оскорбить можете».

Всем персонажам своих пьес, тем, кто имеет идеалы, убеждения, кто учит, наставляет, проповедует, Островский явно сочувствует, а торжествовать, побеждать не дает им никогда.

Будучи человеком порядочным, христиански обустроенным, Островский никому своих тихих внутренних нравственных ритмов не навязывал. О его миролюбии, незлобivosti и невздорности свидетельствует то, что ни с кем из своих великих собратьев по перу Островский во всю жизнь не поссорился, знаком же был со всеми, стало быть, возможность такую имел.

Некоторое охлаждение в отношениях с Львом Толстым или небольшие недоразумения с Некрасовым ни в какое сравнение не идут с морем обид, ссор, острых конфликтов – вплоть до третьей степени суда и дуэли, что плескалось вокруг него.

Вот ближайший соратник, М. Е. Салтыков-Щедрин, пишет в письме: прислал-де Островский пьесу, еще глупее «Богатых невест», и вообще хорошего в нем, в Островском, уже

²⁰ А. Н. Островский в воспоминаниях современников. С. 240.

немного²¹. Такие штуки в человеческом общежитии редко бывают тайными, найдутся желающие передать. Да и Щедрин был на редкость откровенен, все свои словечки повторял и в письмах, и устно, надо думать. Однако Островский если и знал, то не замечал – человек порядочный-упорядоченный, строго отделял главное от второстепенного, случайное от существенного в своем «космосе». Никаких обид, никаких неудовольствий Щедрину не высказывал.

Нравственность – она ведь и есть порядок, закон, космос супротив хаоса, беспорядка, беззакония.

Секретарь Островского Кропачев отмечает: «С неподражаемым умением и классической аккуратностью укладывал вещи в чемодан»²². Черта замечательная! И никогда не могущая быть случайной, изолированной, то есть люди, с классической аккуратностью укладывающие свои вещи в чемодан, как правило, стремятся урегулировать и все прочие свои проявления.

Ясен и аккуратен был Островский в деловых, товарищеских и дружеских отношениях. Всю жизнь жил трудом, не увлекаясь ни коммерцией, ни помещичьим хозяйством (в Щелыково все делалось на потребу семьи, иногда меньше, иногда чуть больше), ни тем более азартными играми. Все недоразумения с коллегами и товарищами распутывал, проговаривал, выяснял, не доводил до болезненного состояния.

Однако будь Островский только примерным сыном православия, человеком порядка, закона, установления, разве он оставил бы нам свой театр, полный человеческих страстей, грехов, заблуждений и страданий? Ему было что преодолевать! В полной мере жила в нем стихия русской жизни, живой жизни – то была натура сильная, размашистая, до страсти влюбленная во все радости природного бытия.

Известно, как разгульно жила так называемая «молодая редакция» «Москвитянина». Сейчас, по прошествии многих лет, идейная основа этого кружка улавливается уже с большим трудом. Смутной она была – ведь все сходились не на идеях, а на основе общих ощущений, на остром чувстве национальной стихии. Главенствовал культ особого душевно-чувственного напряжения, ярче всего выраженный в совместном распивании и распевании. Г. Синюхаев считает даже, что именно во время ночных бдений с друзьями по «Москвитянину» Островский капитально подорвал свое здоровье²³.

«Страшно увлекался всем и всеми, особенно женщинами», – вспоминает один современник Островского²⁴, есть и другие тому свидетельства. Да, тут-то и было главное поле сражения, на котором хаос дал бой космосу. Не успел Островский осудить с точки зрения вековой морали героя пьесы «Не так живи, как хочется» – Петра Ильича, как и сам закружился под стать своему герою. Любовь смела его тихий семейный уют, опрокинула привычный и милый сердцу порядок, заставила страдать и причинять страдания.

Начиная со второй половины 1850-х годов в творчестве Островского наметится и зазвучит все сильнее могучий конфликт: морали и природы, обычая и воли, закона и стихии («Гроза» и «Грех да беда на кого не живет» – конечно, самые крупные случаи, но не единственные), в конечном счете это вековой спор Христа и Ярилы, религии страдания и религии солнца (потом, спустя много лет, об этом будет толковать В. В. Розанов и, чудак, ни словом не вспомнит об Островском). И важно понять, что Островский сам глубоко пережил и перестрадал все свои «вопросы».

²¹ Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: В 20 т. Т. 19. Кн. 1. М., 1971. С. 34.

²² А. Н. Островский в воспоминаниях современников. С. 483.

²³ См.: Синюхаев Г. Т. Болезнь и смерть Островского // Памяти А. Н. Островского. Пг.: Путь к знанию, 1923. С. 117.

²⁴ А. Н. Островский в воспоминаниях современников. С. 394.

В этой битве Островский не встанет ни на одну сторону. Он не будет во имя стихии, желания, воли, природы отменять нравственность, закон и порядок. «Все позволено» – немыслимо для него даже в качестве предположения. Но и казнить именем закона человеческую волю и желание никогда не посмеет. Он пишет битву неразрешимых противоположностей, он драматург, но он в этой битве не хладнокровный объективный наблюдатель – она, очевидно, шла и в его сердце.

Замкнутый – общительный

«Островский вел довольно замкнутый образ жизни», – написал кропотливый реставратор биографии Островского А. Ревякин²⁵. Правда, тут же добавил с удивлением, что воспоминаний о драматурге осталось притом много. Позже, в 1950-х годах, Ревякин пересмотрит свою точку зрения и сочтет, что Островский «был по природе общительный»²⁶. Но тогда, в 1930-е годы, исследователь сказал о том впечатлении, которое произвело на него чтение отзывов современников. Понадобились годы трудов, изучений, чтобы это впечатление поменялось на противоположное.

Ведь и те слова, которые мы привели ранее, – мнения Урусова, Боборыкина о неясности лица драматурга, его потаенности – тоже говорят в пользу версии о «замкнутости». Есть и другие свидетельства – о нелюбви к публичным выступлениям, о страсти к домоседству. Один только раз собрался за границу, один раз переехал с квартиры на квартиру, один раз побывал в экспедиции на Волге...

Тем не менее то был человек кружка, общества, союза, товарищества, братства. Взглянем на его жизненный путь: на всем протяжении вокруг Островского группируются люди, он образует какие-то объединения с собою в центре («молодая редакция» «Москвитянина», Артистический кружок, Общество русских драматических писателей) или входит в уже существующие (редакция «Современника»). Всю жизнь на людях. Круг общения Островского был весьма обширен: он знал практически всех писателей обеих столиц, о театрах же и говорить нечего, все известны – от машиниста до дирекции. Принимал разных посетителей, приятных и неприятных. Знал всех драматургов. Дружил со многими композиторами. Большие знакомства в купеческом сословии. Бывал на ежегодных обедах в честь основания Московского университета. Отказываясь от публичных речей, охотно участвовал в публичных чтениях. Общался с обитателями Кинешемского уезда как почетный мировой судья, исполнявший свои обязанности прилежно²⁷.

Как человек такого образа жизни может быть домоседом и вести замкнутый образ жизни, остается загадкой. Правда, Островский никогда не мелькал всуе, был «непримелькавшимся» и, может, потому отчасти непонятным. С другой стороны, он всегда с исключительной настойчивостью звал к себе в гости, особенно в Щельково, – значит, ощущал постоянную потребность в людях и страдал от их нехватки. Моделью сочетания общительности и замкнутости Островского могут служить его хорошие дни в Щельково: усадьба наполнена детьми, друзьями, приятелями, работниками, а он сидит один в кабинете, трудится. Такой широкий круг общения с замкнутым центром.

²⁵ Ревякин А. И. Островский и его современники. М.; Л.: Academia, 1931. С. 8.

²⁶ Ревякин А. И. Первая жена Островского // Литературное наследство. Т. 88. Кн. 1. М.: Наука, 1972. С. 466.

²⁷ См. об этом: Ревякин А. И. А. Н. Островский в Щелькове М., 1978. С. 195–218.

Самолюбивый – скромный

Самолюбие (самоумнение) Островского признавали, кажется, все – недоброжелатели безоговорочно, друзья с объяснениями.

Считалось, что самоумнение, заносчивость, хвастливость Островского – следствие ранней и громкой славы и обожания молодых друзей – упрочились с его лидирующим положением в театре и среди драматических писателей, превратившись уже в величавость.

«На протяжении более 20 лет я находил в Островском такую веру в себя, такое довольство всем, что он ни написал, какого я решительно не видел ни в ком из наших корифеев: ни у Тургенева, ни у Достоевского, ни у Гончарова, ни у Салтыкова-Щедрина и всего менее – у Некрасова», – вспоминает Боборыкин²⁸. Доброжелательный к Островскому М. Семевский пишет: «Александр Николаевич самолюбив, в том спору нет, но далеко же не так, как о нем рассказывают. По крайней мере, я не видел ни одной серьезной выходки гордого самолюбия и тщеславия»²⁹. Друг Островского, С. Максимов: «Лишенный всякого самоумнения и тщеславия...» – так он определяет Островского³⁰, но буквально несколькими страницами спустя, словно с огорчением, пишет о хвастливости нашего драматурга: «Явный недостаток, правду сказать, резко бросавшийся в глаза»³¹.

Итак, три мнения: недоброжелательное, приятельски-спокойное и дружеское.

Они, пожалуй, сходятся в общей точке, имеют в виду один и тот же предмет. Боборыкин находится на расстоянии от Островского, он чужой, и самоумнение драматурга кажется ему огромным. Семевский – ближе, но не слишком близко, оттого его мнение самое уравновешенное, сбалансированное. Самолюбив, дескать, бесспорно, но без выходов, нормально самолюбив. Максимов стоит совсем близко, и его портрет Островского решительно двоятся: Островский одновременно лишен всякого самоумнения и тщеславия и явно хвастлив, так, что аж в глаза бросается. Попробуйте-ка смонтировать гомункулуса из хвастливости и полного отсутствия самоумнения – и вы поймете тяжелую долю биографов Островского. Пойдем далее, вот перед читателем цепь суждений, принадлежащих современникам Островского: «комическая хвастливость» (Д. Стахеев)³²; «любил овации, как человек до крайности самолюбивый, считавший себя совершенством во многих отношениях» (Н. Берг)³³; «застенчивый, как девушка» (И. Горбунов)³⁴; «поразительная скромность» (С. Максимов)³⁵; «скромность, добродушие» (М. Семевский)³⁶; «человек очень застенчивый и робкий» (В. Минорский)³⁷; «был высокого мнения о своей наружности, любил смотреться в зеркало» (К. Де-Лазари)³⁸; «любил поклонение и благоговение к своей особе» (А. Соколов)³⁹...

Самолюбивый и скромный, застенчивый и хвастливый. А ведь это не герой Достоевского, а цельный, «ясный» Островский. Точно он, с классической аккуратностью складывав-

²⁸ А. Н. Островский в воспоминаниях современников. С. 185.

²⁹ Там же. С. 139.

³⁰ Там же. С. 93.

³¹ Там же. С. 110.

³² Стахеев Д. И. Островский // Исторический вестник. 1907. № 11. С. 470.

³³ А. Н. Островский в воспоминаниях современников. С. 40.

³⁴ Там же. С. 50.

³⁵ Там же. С. 125.

³⁶ Там же. С. 140.

³⁷ Там же. С. 310.

³⁸ Там же. С. 394.

³⁹ Соколов А. А. Из воспоминаний старого театра // Театральный мирок. 1892. № 31. С. 2.

ший вещи в чемодан, с тою же непостижимой аккуратностью сложил разнородные свойства своей личности в единое целое.

Надо, однако, разбираться: самолюбие самолюбию рознь. Каково было самолюбие Островского? Более всего похоже на правду то, что это было полновесное осознание своей ценности, следственно, обращение с самим собою как с ценностью. С теми, кто эту ценность не признавал или не считался с нею, можно было вести себя так, «чтоб чувствовали». А коли ценность личности признавалась безусловно, то уместна была скромность и даже самоумаление.

Лев Толстой, чью человековедческую проницательность трудно опровергнуть, по словам В. Лазурского, сказал о драматурге следующее: «Это была его слабая сторона – придавать себе большое значение: “я, я”»⁴⁰. В тон ему заметит Островский: «Уж очень он, Лев... самолюбив, не любит, если ему правду в глаза говорят»⁴¹. Это заочное препирательство двух титанов по вопросу о том, кто из них двоих самолюбивее, производит слегка комическое впечатление. Но все-таки Толстой говорит об одном роде самолюбия, а Островский – о другом. Островский выделял самолюбие в особую статью рассуждения и в частных разговорах (никогда – публично) среди несимпатичных ему черт Гоголя, Достоевского, Тургенева называл эгоизм и страшное самолюбие. «Это был человек страшного самолюбия» (о Гоголе)⁴², «страшно изломанный, самолюбивый до болезни» (о Достоевском)⁴³.

Сознание своей ценности и своего значения в Островском не доходило ни до сумасшествия, ни до болезни, ни до желания проповедовать миру. Опять-таки напоминаю, это никак не означает, что Островский «лучше» Достоевского или Гоголя (хотя в обычном, житейском, пошлом, обывательском смысле слова это где-то и так, то есть общаться обыкновенному человеку с Островским было гораздо легче, чем с другими титанами). Заметим, что и те, кто толкует о самолюбии Островского, не говорят, однако же, об эгоизме или эгоцентризме.

Островский мог резко и пренебрежительно отозваться о самолюбии другого человека. Он пишет Бурдину о театральных делах: «Скучные притязания г[...] самолюбия, вроде притязания Нильского». Но в его письмах нет и самовосхваления. В письме к П. Анненкову (1871) он даже относит себя к числу «нехитрых художников». Утешая друга Бурдина, провалившего роль, отмежевывается от своего самолюбия: «Я не самолюбив и пьес своих высоко не ставлю».

Правда, совсем другая картина наблюдается в многочисленных обращениях и записках Островского «по начальству». Тут при всяком удобном случае Островский напомнит о своих заслугах, ничуть не стесняясь в выражениях: здесь будут те самые «я, я», о которых говорил Толстой («Я – все: и академия, и меценат, и защита... <...>... по своим врожденным способностям я стал во главе сценического искусства... <...>... Садовский своей славой был обязан мне... <...>... Линская и Левкеева называли меня “наш боженка”... <...>... я – прибежище для артистов; я им дорог, как глава...»).

Но все перечисляемые им заслуги реальны, ничто не приписано, не раздуто.

Островского живо волновала, а иногда и больно ранила разница между ощущением своей ценности, ценности своих творений и дел и *оценкою* их другими. Он с горечью воспринял факт недооценки Некрасовым «Снегурочки» – недооценки буквальной, в денежном измерении. Он счел необходимым отстаивать значение своего произведения. Но если наступало желанное равновесие между ценностью и оценкой, Островский совершенно успокаивался и уж никак не величался. Раз Анненков так сердечно отнесся к его творчеству, так

⁴⁰ А. Н. Островский в воспоминаниях современников. С. 308.

⁴¹ Там же. С. 304.

⁴² Там же. С. 295.

⁴³ Там же. С. 296.

высоко его оценил, то нелишне и умалиться немного, изобразить себя «нехитрым художником», скромным любителем художественного труда и отделки.

Вот тут ясно видно, как работал «универсальный дар композиции», как драматург чувствовал и соблюдал меру личностных проявлений.

Он мог быть скромен с друзьями, поклонниками, артистами, начинающими драматургами, со всеми, кто безусловно признавал его ценность. Чуть только веяло холодом, враждой, недооценкой – преображался и Островский. «Он был несколько странен, – вспоминает А. Соколов, журналист, известный под псевдонимом Театральный нигилист, – все как будто бы боялся, чтобы с ним кто-нибудь не обошелся фамильярно»⁴⁴. Так небось Театрального нигилиста и боялся, и ему подобных, боялся фамильярности – а фамильярность и есть неуважительное, пренебрежительное отношение к ценности и значению другого.

При любых признаках недооценки Островский сам вставал на защиту желанного равновесия и сам его восстанавливал, своим словом. Боборыкин похвалил какую-то роль в его пьесе, и Островский «с добродушной улыбкой выговорил невозмутимо»: «Ведь у меня всегда все роли – превосходные»⁴⁵ – думаю, что все составляющие этого великолепного ответа (добродушная улыбка, невозмутимость, сам текст) были специально изготовлены для Боборыкина, который Островского никогда как должно не ценил, и Островский это знал.

Островский не любил холода, боялся его – всякого холода, и физического, и душевного, и бытийного, великого холода земной жизни. Дома он кутался в меховые халаты, прятал ноги в «медвежий ковер», мечтал, что на новой квартире, в доме князя Голицына, удастся «прикопить тепла». Смолоду звучат в его письмах жалобы на холод («... Ничего теплого у меня нет», – жалобно пишет он М. Погодину). «А так жить холодно», – скажет его заветная героиня Лариса-бесприданница; и вообще тема «тепла» (любви, ласки, дружбы, быта, чаепития, юмора) и «холода» (смерти, вражды, обмана, потери дома) – одна из главнейших в его творчестве, о чем еще будет дальнейшее рассуждение.

Это была его личная тема, личное, лирическое мироощущение. Он, видимо, страдал от любых проявлений душевного холода – вот и Некрасову, не оценившему «Снегурочку», пишет: «... Незаслуженная холодность и резкость Вашего письма в моей искренней и постоянно расположенной к вам душе возбудили очень много горьких чувств и размышлений...» И если холод подступал к нему слишком близко, он вырабатывал необходимое для жизни тепло сам, пусть и с помощью собственных горячих одобрений своего труда.

В оценке внешнего мира все это могло показаться и самомнением, и хвастливостью. Я определяю это как соблюдение меры тепла и холода, необходимой для жизнедеятельности личности. Контрастные проявления Островского этого рода (самолюбие – скромность, хвастливость – застенчивость) отнюдь не признак хаотичности, раздвоенности натуры, но и не примыслены одними лишь недоброжелательными современниками. Тут была своя логика, своя композиция.

Здоровый – больной

Островский написал сорок семь оригинальных пьес и имел рекордное для великого русского писателя количество детей (десять; четверо, от Агафьи Ивановны, рано умерли). Исключительная и опять-таки универсальная плодовитость. «Вы наш богатырь», – напишет Островскому Некрасов⁴⁶. Ни на одного своего современника Островский не производил впечатления хилого, болезненного, слабого здоровьем человека (исключая два-три последних

⁴⁴ Соколов А. А. Из воспоминаний старого театрала // Театральный мирок. 1892. № 31. С. 2.

⁴⁵ А. Н. Островский в воспоминаниях современников. С. 187.

⁴⁶ Цит. по: Вильчинский В. П. Некрасов и А. Н. Островский в их переписке // Некрасовский сборник, VI. Л., 1978. С. 59.

года жизни). «Фигура русского, плотно, хорошо сколоченного боярина» (М. Семевский)⁴⁷; «крупная, мужественная фигура» (Т. Склифосовская)⁴⁸; «кажется человеком коренастым и здоровым» (А. Урусов)⁴⁹ – до конца жизни Островский не прекращал разнообразную деятельность, упражнял лингвистические способности, не потерял ни грана памяти (замечательной, необыкновенной и колоссальной, по отзывам современников).

Жаловаться на нездоровье Островский начал смолоду. Дальше дело пошло по нарастающей: начиная с 1860-х годов, со времен своей семейной драмы, драматург заявляет о плохом, ужасном, катастрофическом состоянии организма, пишет об этом почти в каждом письме к другу или близкому приятелю.

На непочтительные актерские глаза, в поведении Островского была значительная доля игры. Так считает К. Де-Лазари, об этом пишет А. Нильский: «“Причудник”... вечно жаловался на всевозможные болезни, кряхтел, стонал»⁵⁰, – можно, конечно, и отбросить эти свидетельства, а тем не менее надо учесть: актеры по свойству натуры и профессии наигрыш видят пронизательно. Характерно и то, что Островский жаловался на болезни друзьям, приятелям и актерам, своим людям, не Боборыкину. Он будто бы по праву расслаблялся, требуя за свои непомерные труды долю сочувствия, то есть тепла.

Но болел же он и действительно. Знакомство с родимой природой во время волжской экспедиции ему довольно дорого обошлось – Островский «сломал ногу, один раз тонул, несколько раз сильно простужался»⁵¹. Он часто переутомлялся, простужался, болел сердцем и умер ведь в шестьдесят три, не в девяносто.

В человеке подобной силы интеллекта всегда трудно разделить физический и духовный пласты существования. Энергичный, духовно здоровый, и вкусы-то его все были здоровые: любил красивых женщин, дружеское застолье, лес, деревню, грибы и ягоды, охоту, рыбную ловлю, высокие образцы художества... но чувствительность непомерная, но боязнь холода, но тонкость душевного аппарата? Умер от разрыва сердца – случайно ли? Так что присоединим к контрастным проявлениям Островского и еще одну пару: здоровый и больной.

Добродушие – желчь

Группа свойств личности драматурга, объединенных общим именем «добродушие» (сюда входят: приветливость, мягкость, ласковость, миролюбие), запомнилась современникам, пожалуй, крепче всего. Это основной общий колорит личности Островского, ее общий тон, общий «вкус». Все тут вторят один другому, приводя примеры, подбирая нежные слова.

«Мягкое сердце, добрый, ласковый и всегда снисходительный» (А. Нильский)⁵²; «ласковая, милая улыбка... <...>... атмосфера приветия и ласки» (М. Ипполитов-Иванов)⁵³; «трудно вообразить себе человека добродушнее» (Д. Аверкиев)⁵⁴; «дорог был своими сердечными упрощенными отношениями» (С. Максимов)⁵⁵; «добродушие, незлопамят-

⁴⁷ А. Н. Островский в воспоминаниях современников. С. 158.

⁴⁸ Там же. С. 321.

⁴⁹ Порядок. 1881. 22 января.

⁵⁰ А. Н. Островский в воспоминаниях современников. С. 357.

⁵¹ А. Н. Островский в воспоминаниях современников. С. 302.

⁵² А. Н. Островский в воспоминаниях современников... С. 353.

⁵³ Там же. С. 434.

⁵⁴ Там же. С. 489.

⁵⁵ Там же. С. 121.

ность» (М. Семевский)⁵⁶; «ласковость», «добрые ласкающие глаза» (В. Герценштейн)⁵⁷; «радостный и добрый» (А. Кони)⁵⁸...

Даже недолюбливавший в 1850-е годы Островского и весь кружок «молодой редакции» «Москвитянина» Д. Григорович в своих «Литературных воспоминаниях» отмечает, что Островский встретил его (будучи с ним незнакомым) «с приветливостью», хотя и «сдержанной»⁵⁹.

Это уж никаким трудом не выработаешь: такая натура, родился на свет «добрый человек» – и слава богу. Кроме того, Островский был деятельно добр, помогал «по христианству», особенно начинающим писателям, бедным или как-то обездоленным. Мягкость и приветливость тоже от Создателя, выработке не поддаются. Случалось, что он, будучи во главе какого-либо дела, напускал на себя важность и даже суровость. Однако уморительно пишет о его председательстве в Обществе русских драматических писателей Н. Кропачев: оказывается, не было ничего легче, чем в бытность Островского председателем попасть в число драматических писателей: «Тут были, например, такие субъекты, которые и пера-то в руки не брали»⁶⁰. Личность и творчество Островского были в этом смысле весьма схожи, хорошо сказал о способе изображения человека в его пьесах Н. Эфрос: «... его изображения всегда – такие обогретые, теплые, купаются в лучах авторской ласковости»⁶¹.

Среди словесных портретов Островского выделяется один, кисти П. Невежина. Примечательно, как он пишет об улыбке Островского: «... особенная улыбка, в которой отражались ум и бесконечная доброта, отравленная желчью»⁶². Доброта, отравленная желчью? И опять, спустя два слова, Невежин словно противоречит сам себе, определяя Островского как человека с «наивною детской душой». Помилуйте, с детской-то душой какая же возможна желчь? А сюда еще присовокупим и «глаза с хитрецей» (К. Де-Лазари)⁶³, и лукавство, и суровость, отмеченные иными современниками...

Этот добрый, мягкий, приветливый человек мог так припечатать словцом, что и Щедрина под статью (наверное, восхищала Островского в Щедрине не в последнюю очередь мягкость суждений.) Хлестко и неподражаемо-юмористически отозвался он в 1864 году о пьесе Л. Толстого «Зараженное семейство», да не просто отозвался, а в письме к Некрасову: «Когда я еще только расхварывался, утащил меня к себе Л. Н. Толстой и прочел мне свою новую комедию; это такое безобразие, что у меня положительно завяли уши от его чтения; хорошо еще, что я сам весь увядаю преждевременно, так оно и незаметно, а то бы что хорошего!»

Вот уж виден автор «На всякого мудреца довольно просторы». Да, не был Островский, при всей своей доброте, расплывчат, не был ни овцой, ни буддою невозмутимым: гнев и раздражение были ему хорошо ведомы.

Он был нежен с друзьями. Но чуть задень его за живое, скажи сильно поперек – мягкость как ветром сдует. Приятель из приятелей, Бурдин, сослался как-то на мнение Театрально-литературного комитета. «Давно ли ты стал радоваться, что твои мнения сходятся с мнениями Комитета! – отчеканивает Островский. – Деликатно ли с твоей стороны сообщать мне в назидание мнение убогой компании, тогда как не только я, но и все порядочные люди

⁵⁶ Там же. С. 140.

⁵⁷ Там же. С. 180.

⁵⁸ Там же. С. 196.

⁵⁹ Григорович Д. В. Литературные воспоминания. М.: Художественная литература, 1987. С. 120.

⁶⁰ А. Н. Островский в воспоминаниях современников. С. 211.

⁶¹ Эфрос Н. Е. А. Н. Островский. Пг.: Колос, 1922. С. 24.

⁶² А. Н. Островский в воспоминаниях современников. С. 263.

⁶³ Там же. С. 393.

оскорбляются, что пять-шесть плоских бездарностей, с развязностью почти военного человека, судят произведения настоящих художников».

Он умел и отклонить просьбы и притязания, ему ненужные и неясные, и с вежливостью такого сорта, что она как бы прекращала все дальнейшие объяснения по этому поводу. Однажды с некоторой путаной просьбой к Островскому обратился Н. С. Лесков. Островский отвечает следующим образом: «Милостивый государь Николай Семенович, Вы пишете, что Вам нужно мое письмо, т. е. мое имя, чтобы заинтересовать лицо, близко поставленное Государю, в деле, о котором Вы, из сострадания, беретесь хлопотать и которое Вы сами называете довольно отвратительным. Я Вам очень благодарен за то, что Вы признаете за моим именем некоторую ценность; но это самое обстоятельство и не позволяет мне обращаться с своим именем легкомысленно... <...>...не зная... <...>...самого дела, я... <...>... по совести ничего не могу сказать, ни даже придумать, что бы могло послужить в его пользу».

И вежливо, а тверденько: сказал как отрезал. А мог и еще тверже, если в гневе... Видимо, рассердил его не на шутку композитор А. Н. Серов: ему Островский отправил просто-таки образец эпистолярной отповеди, начинающейся так: «После Вашего письма нет возможности предположить, чтобы вы имели настоящее понятие о вежливости». Если прочесть эти слова вслух, будто зазвучит властный, твердый голос. Заканчивается письмо совсем хорошо: «Вы просите меня не пенять, что круто обращаетесь. Об чем же мне пенять? Я Вам не подчиненный. На крутое письмо всякий имеет право отвечать еще круче, если дозволит благовоспитанность».

Нас, привыкших к разнообразию театра Островского, уже не удивляет, что и «Снегурочку», и «Волки и овцы» написал один человек, владевший и поэзией, и сатирой. А вот контрасты личностных проявлений самого Островского при внимательном рассмотрении удивляют. Хотя все эти величины крепко связаны, имеют общий источник. Понятно, что создатель «Леса» и «Бешеных денег» мог быть и резок, и насмешлив, как трудно оспорить и то, что без мягкого сердца и душевной кротости не напишешь «Бедной невесты» или «Без вины виноватые». Важно уяснить богатство человеческой природы Островского и то, что, наблюдая природу человека, он частенько глядел не только на внешний мир, но и внутрь себя.

Агафья Ивановна, Марья Васильевна, Николай Добролюбов, Аполлон Григорьев

Закон совмещения противоположных свойств и контрастных проявлений словно простирался и за пределы личности Островского, формируя и ближайшее окружение его жизни и творчества. Обе его жены – Агафья Ивановна, Марья Васильевна – и оба его главных критика – Николай Добролюбов, Аполлон Григорьев – были людьми, несходственными решительно ни в чем: ни в складе характера, ни в ходе судьбы, ни в убеждениях, ни – если говорить о критиках – в стиле и методах анализа художественного произведения.

Агафья Ивановна, тихая, простая женщина, старше Островского по возрасту, никогда не появлявшаяся с Островским в обществе, не слишком красивая, – и Марья Васильевна, молодая, красивая цыганской или, во всяком случае, восточной красотой, любившая щегольнуть нарядом, горячая, страстная⁶⁴.

Николай Добролюбов, разумный, рассудочный материалист, абсолютно «партийный», твердо и четко излагающий свои мысли, очень влиятельный в русском обществе, – и Апол-

⁶⁴ См. об этом: *Ревякин А. И.* Первая жена Островского // Литературное наследство. Т. 88. Кн. 1. М.: Книга, 1972. С. 460–468; и другие биографические сочинения.

лон Григорьев, стихийный, поэтический, вдохновенный и путаный, боявшийся всякой партийной определенности, малоавторитетный, хотя и читаемый в обществе.

И все они сходились в любви к Островскому! И он любил их. (Конечно, по отношению к Добролюбову была известная сдержанность, но Добролюбов сыграл слишком великую роль в литературном самоутверждении Островского, чтобы тот хоть единым словом намекал на какие бы то ни было разногласия с ним.)

Словно льнули «бинарные оппозиции» к нашему драматургу, как раз искавшему и писавшему столкновения разнонаправленных волей, сшибки противоположных стихий. И близлежащая к Островскому жизнь будто заражалась от него общими свойствами его натуры, ведя себя с неумолимой композиционной строгостью.

Мужское – женское

Мужественность Островского была несомненна и, по воспоминаниям современников, выражалась даже и во всем его облике. Мужественный, крепкий, коренастый, напоминающий не то богатыря, не то боярина – таким видели его люди. И в этом мужественном теле обитал, видимо, абсолютно мужской дух, если под понятием «мужское» разуметь обозначение одной из двух мировых сил-стихий, силу, устремленную на борьбу, завоевание и построение.

Композиция считается традиционно чуждой женской стихии, и сам Островский, драматург-«композитор», шутил, что такая работа-де женщине не под силу.

Островский был отличный воин, боец, завоевывая себе различные области влияния, умел и отступить, и напасть вовремя и во всеоружии. Его многочисленные записки о положении дел на театре очень боевые, активные, воинственные.

До самой смерти не покидала его особенная, боевая духовная бодрость. «Александр Николаевич принадлежал к числу стойких натур, нелегко поддававшихся душевному недомоганию; он не скоро опускался и никогда не “раскисал”», – вспоминает Л. Новский⁶⁵. «Стойкий сам по себе, сильный волей, твердый в слове и убеждениях», – подтвердит Н. Кропачев⁶⁶, но, собственно, этого никто и не оспаривает в Островском.

Так и должно было быть: конечно, исполинский театр и возводил исполин-демиург, богатырь, строитель и боец.

Но, коли он был такой героической личностью, отчего не оставить небольшого автопортрета, где-нибудь, хоть в уголочке какой-нибудь пьесы? Ведь герой в русской жизни такая приятная редкость, и так нужны обществу ободряющие идеалы.

По моим наблюдениям, Островский оставил нам множество автопортретов, но не буквально воспроизводящих какие-то личностные черты, то были скорее автопортреты души.

Похоже на то, что у этого абсолютного мужчины с абсолютно мужским духом соединялась абсолютно женская душа.

Прекрасно выразил это С. Максимов – человек, близко знавший Островского. «Эта быстрая смена впечатлений, – пишет Максимов, – в подвижных и живых чертах лица, выражавшаяся неожиданным переходом от задумчивого к открытому и веселому выражению, всегда была поразительна... <...>... под обманчивой и призрачной невозмутимостью и при видимой солидности в движениях скрывалась тонкая чувствительность и хранились источники беспредельной нежности»⁶⁷ – воля ваша, но это женский портрет. Чувствительность тонкая, нежность беспредельная, смена впечатлений в чертах лица! Далее: «Писал Остров-

⁶⁵ А. Н. Островский в воспоминаниях современников. С. 289–290.

⁶⁶ Там же. С. 481.

⁶⁷ А. Н. Островский в воспоминаниях современников. С. 77.

ский разгонистым и крупным, четким почерком, круглые буквы которого напоминали неуверенный женский, что приводило в некоторое недоумение Тургенева...»⁶⁸

Не только писал женским почерком, но, оказывается, не чурался и других женских занятий. К. Загорский как-то застал его за кройкой панталончиков для сына. Островский объяснил удивленному товарищу, что «рос среди девочек... <...>... товарищей у него в детстве не было»⁶⁹. «Его коньком, – рассказывает М. Писарев, – были женские роли... <...> Свахи и купчих он читал неподражаемо. Многие выдающиеся русские актрисы играли роли в пьесах Островского с его голоса»⁷⁰. Писал женским почерком, рос среди девочек, неподражаемо исполнял женские роли и был чрезвычайно, чрезмерно чувствителен – о том есть немало свидетельств. «Малейшее волнение сейчас же заставляло его болезненно прижимать руки к сердцу» (Л. Невский)⁷¹.

«Натура Александра Николаевича была крайне впечатлительна: сообщаясь, бывало, ему веселое, он улыбается, станешь передавать печальное – сейчас лицо его изменится, делается печальным» (И. Купчинский)⁷². Многие вспоминали «милую улыбку» Островского, точно он был светская красавица. С. Васильев и дальше пошел, отмечая «обаяние, чарующее обаяние личности», процитировал пушкинские стихи, отнеся их к личности Островского и к своему отношению: «И говорю ей: “как вы милы”. И мыслю: “как тебя люблю”». Увидев то, каким бесконечно нежным взглядом смотрит Островский на сына, Васильев заключает: «Он обладал бесконечною тонкостью чувства, женственной нежностью и деликатностью сердца»⁷³.

Видите, все сходится: впечатлительность, чувствительность, нервность, нежность... все черты женской силы-стихии.

В пьесах Островского есть героини, наиболее полно выражающие суть своей стихии, своей природы, – женщины впечатлительные, чуткие, нежные сердцем: Катерина из «Грозы», Лариса Огудалова, Юлия Тугина, Саша Негина, Вера Филипповна («Сердце не камень»), Ксения Кочуева («Не от мира сего») и многие другие. Трудно оспорить, что они написаны Островским с особою силой и особою любовью и сочувствием. Островский вел себя в этом мире по-мужски, но восприятие жизни у него, видимо, было женское. Слить в единое существование мужской дух и женскую душу – то была большая удача Творения. Лучшего для драматурга трудно пожелать...

Обыкновенный – необыкновенный

«Много было странностей в этом необыкновенном человеке!» – воскликнул один современник Островского⁷⁴. Но вообще-то Островский не пугал, не поражал людей ни превосходством, ни причудами, ни особыми требованиями. Его соразмерность делала его и приемлемым, и приятным в общезитии.

Я попыталась показать читателю, что то был человек не только необыкновенный, но даже и уму непостижимый. Но это не бросалось в глаза людям, не выпирало: Островский умело, умно и органично, с помощью дара композиции, соразмерял проявления своей исключительной, богатой контрастами личности – соразмерял с людьми, с обстоя-

⁶⁸ Там же. С. 98.

⁶⁹ Там же. С. 370.

⁷⁰ А. Н. Островский в воспоминаниях современников. С. 344.

⁷¹ Там же. С. 288–289.

⁷² Там же. С. 233.

⁷³ Там же. С. 493–494.

⁷⁴ А. Н. Островский в воспоминаниях современников. С. 43.

тельствами, с чувством изящного, с законами гармонии; так что и спустя многие годы его биографы, как бы замороженные гармоничной целостностью этого человека, перечисляют, буквально через запятую, несочетаемые свойства Островского и никак не останавливают на этом внимания. В прекрасной книге А. И. Ревякина «А. Н. Островский в Щелькове» есть места, читая которые трудно удержаться от улыбки. «Не лишним будет отметить, – пишет Ревякин, – что гуманность Александра Николаевича распространялась и на животных. По воспоминаниям М. М. Шателен, он “не позволял убивать старых лошадей, и при нем они доживали свой век, так сказать, «на пенсии»”. Драматург всячески оберегал жизнь животных и птиц, не позволял убивать зря даже ужей... <...>... белки, обитавшие в парке, были совсем ручными... <...>... птиц не только охраняли, но и специально разводили».

Через абзац: «Островский охотился так интенсивно, что изводил весь запас пороху и обращался за помощью к Михаилу Николаевичу... <...>... приглашая в Щельково своих друзей, Островский манил их и удовольствием охоты...»⁷⁵ Хороший человек все делает с удовольствием: и разводит птиц, и стреляет в них. Что ж, мужское, воинственное, охотничье требовало своего, женское – чувствительное и нежное – своего. Примечательно, что Островский удовлетворял всем требованиям...

Островский – Россия

Вернемся к тому вопросу, который мы так непочтительно отодвинули, характеризуя книгу М. Лобанова об Островском. Мы посмеялись тогда над назойливостью утверждений Лобанова о «русскости» Островского – дескать, и Лев Толстой был не француз. Это не означает, что такой проблемы – «Островский – Россия» – не существует. Но невозможно же кормить общество заклинаниями вместо размышлений. Русский! русский! а что такое русский? что значит быть русским?

Всеми и всегда ощущалась особая, органическая связь Островского с национальной стихией. Некрасов писал об Островском: «Ему менее, чем кому-либо, следует бояться выпасть из русского тона: тон этот в нем самом, в свойствах ума его»⁷⁶. Пришло, как кажется, время взглянуть на эту связь пристальнее.

Островский обладал исключительной полнотой *человеческих проявлений*. В нем сходились крайности, объединялись противоположности, сцеплялись контрасты. Замкнутый и общительный, порядочный и стихийный, здоровый и больной, самолюбивый и скромный, застенчивый и хвастливый, мягкий и гневливый, добродушный и желчный, обыкновенный и необыкновенный, поэт и сатирик, христианин и язычник, с абсолютно мужским духом и абсолютно женской душой... не правда ли, вспоминается что-то знакомое? Еще со школьной скамьи, с хрестоматийных строк, что-де ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и бессильная, матушка-Русь.

Да, именно Россия как живое органическое целое и русский характер осознавались культурой XIX и позже XX века как соединение противоположностей, битва крайностей самого разного порядка. Несомненен и принципиальный драматизм национального самосознания, которое двигалось и развивалось силой осмысления антиномий, одной из которых (Россия и Европа, мы и они, свое и чужое) суждена была, верно, самая долгая жизнь.

Вся великая русская литература есть, по существу, совокупный портрет России – сценической площадки для представления всевозможных человеческих трагедий, человеческих драм и человеческих комедий. О том, что русская стихия есть *соединение несоединимого*,

⁷⁵ Ревякин А. И. А. Н. Островский в Щелькове. М., 1978. С. 61.

⁷⁶ Некрасов Н. А. Полн. собр. соч.: В 12 т. М., 1948–1953. Т. 9. С. 377.

писали, пожалуй, все великие русские писатели, но Ф. М. Достоевский и Н. С. Лесков особо страстно и мощно.

По моей идее, личность Островского являлась микрокосмосом России.

Но микрокосмосом не реальным, а идеальным, поскольку Островский обладал тем, чем национальная стихия как раз не обладала, – даром композиции. Богатство природы, полнота проявлений совершенно роднили его с феноменом России; но его крайности, его противоречия, его контрасты были им соразмерены, гармонизированы и претворены в художественные создания.

О них – далее.

Бог в творчестве Островского

Эволюция религиозных тем и мотивов в творчестве А. Н. Островского: от «Семейной картины» до «Грозы»

Религиозность Островского и эволюция религиозных тем и мотивов в его творчестве никогда не были предметом углубленного изучения; соображений общего свойства, суждений, исходящих из понимания всей драматургии Островского, накоплено немного. Даже богоборческая и богоискательская эпоха конца XIX – начала XX века, страстно и пристрастно размышлявшая над реформаторскими порывами мятежных духов Достоевского и Толстого, не позвала в собеседники заземленного, ясного и безмятежного, как виделось тогда, Островского.

Правда, целая литература написана о некоторых героях и героинях Островского, чья судьба и строй души определялись понятиями «Бог» и «грех». Такова прежде всего Катерина Кабанова. Рассуждая о ней, критики так или иначе прикасались к области русской религиозности, народной веры, обычаев и обрядов русского народа. В узле, туго сплетенном в этой гениальной трагедии, оказалось на удивление изобильно важных духовных нитей.

Однако «Гроза» – не единственная пьеса Островского, где живым и действующим лицом является «бог». Единожды «бог» снисходит к своему народу – в «Снегурочке», но в основном «бог», а точнее, «боги» живут в умах и поступках великого множества героев драматурга. Многоликому и противоречивому образу русского «бога», извлеченному из совокупности пьес Островского, и посвящено это сочинение.

Автор наиболее целостного суждения о религиозности Островского А. Р. Кугель видит его и в жизни, и в творчестве примерным, добросовестным христианином. «В огромной части своих пьес Островский все время поглощен – “оправданием добра”, проповедью жалости и сострадания, верою, подчас наивною и детскою, в конечное посрамление зла»⁷⁷. Сравнивая религиозность Достоевского и Островского, Кугель находит, что Бог Достоевского – карающий, мстительный, да и сам Достоевский – «буйствующий христианин, клирик на художественной подкладке», чей тайный идеал – Савонарола. Островский же – мирянин, не мудрствующий лукаво⁷⁸.

При всей полемической остроте в этом противопоставлении есть и нечто справедливое. Достоевский и Толстой, разумеется, ощущаются нами прежде всего как писатели и мыслители. Вместе с тем они – «буйствующие христиане», чьи исполинские фигуры напоминают о сумрачном величии Мартина Лютера и его бессмертном жесте, классическом жесте всех религиозных реформаторов – запустить в черта чернильницей. В России, вставшей на путь европеизации, не могли не возникнуть реформаторские умонастроения, ведь реформация прошла во всех странах Европы. Своеобразие исторического развития России не позволило расцвести и оформиться реформаторской церкви. Но «толстовство» и перманентный духовный бунт во вкусе Достоевского, видимо, вполне можно считать наиболее крупными течениями в русской религиозной реформации. Думаю даже, что культ Толстого и Достоевского, характерный для русской интеллигенции XX века, отчасти заменил ей несостоявшуюся реформаторскую русскую церковь, ту, что могла дать долгожданную альтернативу и атеизму, и православию, и сектантству.

⁷⁷ Кугель А. Р. Островский // Кугель А. Русские драматурги. М., 1934. С. 53.

⁷⁸ Там же. С. 56.

Островский же – не бунтарь, не реформатор. Он пишет то, что можно было бы назвать «духовным бытом» людей, – верования устоявшиеся, привычные, мирские, каждодневные. Его не занимают исключительные духовные поиски одиноких безумцев. А притом всякий внимательный глаз подметит, что духовно-душевное обустройство героев драматурга может быть далеко не простым, уводить от плоскости мирского житья и в глубь истории, и в вышину небес.

Одним из конфликтов творчества Островского Кугель называет «восстание языческого духа». «Домострой взнуздывает дикого коня, который бьет копытами, и дрожит, и рвется, и вот-вот понесет»⁷⁹.

Языческий дух видится критику прежде всего в тех героинях Островского, что «практичны, веселы, чувственны», подобно Варваре из «Грозы». Жажда жизни, воли, любви связывается с язычеством – характерное умонастроение начала века. В. Я. Лакшин, исследователь второй половины XX века, тоже замечает, правда мимоходом, что язычник в Островском то и дело побеждал христианина⁸⁰. Видим, что творчество драматурга все-таки наводило исследователей на ощущения близости Островского к одному из коренных и решительных противостояний русского самосознания – противостоянию христианства и язычества.

Рассматривать этот вопрос в категориях «победа – поражение» (кто победил в Островском), наверное, неплодотворно. Если главной задачей ставить прояснение связи творчества Островского с национальным самосознанием, о победах и поражениях толковать не придется. «Язычество» – условное наименование гигантского слоя верований русского народа до принятия христианства. Конечно, странно было бы думать, что в дохристианскую эпоху славяне вообще и русские в частности не имели понятия о добре и зле, не вырабатывали в своем существовании некоторые сверхприродные идеалы. Однако христианство рассекло культурный слой язычества острым мечом идеологии, отбросив ненужное, присоединив свое. Из любого сочинения, посвященного духовной истории русского народа, мы узнаем, что с введением христианства на Руси началась «эпоха двоеверия». Христианская идеология свергла или потеснила старых богов славянского пантеона, оставила почти нетронутой низшую демонологию (как пишет один исследователь, «низшая демонология вообще живет всегда дольше, чем главные фигуры религиозной системы, на которые при смене религии обращены основные усилия миссионеров новой веры»⁸¹), то есть домовых, леших, русалок, водяных и т. п., и художественно вписала христианский миф в обрядовый языческий календарь.

«Эпоха двоеверия» бывала воинственной, бывала мирной; кое-что из своего духовного обихода русские люди уступали без труда, за что-то держались крепко; преобладал скорее поиск наиболее приемлемых форм духовного быта, чем откровенное лицемерие. О том же, когда закончилась «эпоха двоеверия» и чьей победой, ни одно историческое сочинение нам не сообщит.

Из словаря «Христианство» можно узнать, что «даже в конце XVIII века св. Тихон Воронежский обличал в Воронеже празднования в честь Ярилы»⁸². Ярило оказался самым стойким из древних богов. Празднества в его честь свершались и позднее. Невозможно указать дату, венчающую исчезновение язычества на Руси. Ведь «основа язычества – обожание природы»⁸³, и доколе существуют природа и человек, видимо, будет существовать и языче-

⁷⁹ Кугель А. Р. Островский // Кугель А. Русские драматурги. М., 1934. С. 68.

⁸⁰ См.: Лакшин В. Я. Островский (1878–1886) // Островский А. Н. Полн. собр. соч.: В 12 т. Т. 5. М., 1975. С. 475–498.

⁸¹ Клейн Л. С. Памяти языческого бога Рода // Язычество восточных славян. Л., 1990. С. 26.

⁸² Христианство: Энциклопедический словарь: В 3 т. Т. 1. М., 1993. С. 466. Ст. «Двоеверие».

⁸³ Афанасьев А. Н. Древо жизни. М., 1982. С. 367.

ство, пусть и утратившее обрядовое великолепие, а в наши дни дополняемое чувством вины и ответственности.

Думаю, что «эпоха двоеверия» и не заканчивалась никогда, а лишь видоизменялась со временем и что не слишком мирное сожительство Христа и Ярилы в русском самосознании вряд ли изжито и вряд ли будет изжито историческим путем. Противостояние Христа и Ярилы может быть истолковано и как противостояние духовного и природного. В таком качестве оно имеет уже всечеловеческое значение, а взятое в своем национальном измерении, находит в Островском одного из выдающихся художественных исследователей. Какую бы область жизни ни осваивал создатель национального эпического театра, он всегда изображал в строе пьес, в чувствах и поступках героев общее ощущение тех правил, тех общепринятых и общепонятных представлений о должном и недолжном, добром и злом, освященном или не освященном высшей волей – словом, о том, чем держится, на что оглядывается эта жизнь.

Богоискателей-резонеров в его пьесах нет. Ту т каждый носит своего Бога с собой, примеряя, прилаживая, пристраивая его к Богу, общему для всех. Каков этот Бог, общий для всех?

Неоднозначен, изменчив, многолик. Если рассмотреть всю драматургию Островского как единый целостный художественный текст, то мы пройдем длинным путем от 1840-х годов к 1880-м, от «Семейной картины» до «Не от мира сего», от первой пьесы к последней, от жизни прочной, самодовольной, «пузатой», где, кажется, никто не сомневается в благолепии и благодати ниспосланного бытия, к жизни, истончившейся и горестно разошедшейся с духовно должным, превратившейся из прежнего маслянистого лакомства в пронзительную мелодию богооставленности, потери всякого благословения – что от Христа, что от Ярилы... Одною из вех на этом пути встанет «Гроза».

1. Духовный быт и обиход русского народа в драматургии А. Н. Островского до «Грозы»

В те годы, когда Островский делал первые шаги на поприще драматургии, в русской жизни еще были живы и сильны сознательные умонастроения и бессознательные импульсы, которые много позже философ Е. Н. Трубецкой назовет «старомосковским мессианическим самомнением»⁸⁴.

Целые сословия русского общества (купеческое в их числе) ориентировались на духовные заветы допетровской Руси, когда «русское общество считало себя единственным истинно правоверным в мире, свое понимание божества – исключительно правильным, творца Вселенной представляло своим собственным русским Богом, никому более не принадлежащим и неведомым»⁸⁵. Трагические приговоры Чаадаева истории России, жертвы рокового раскола церковью ничем не могли возмутить спокойствия за Москва-рекой, где «всемирная отзывчивость» Пушкина существовала разве в виде романса про «черную шаль».

Без прежней неистовости, скорее по инерции, но Русь по-прежнему считала себя «единственным в мире убежищем правой веры и истинного благочестия»⁸⁶.

«Старомосковское мессианическое самомнение» глубоко укоренено в душах и нравах степенного семейства Пузатовых, героев «Семейной картины» (1847). Без сомнения, они считают свою жизнь освященной, санкционированной высшей волей.

⁸⁴ Трубецкой Е. Н. Старый и новый национальный мессианизм // Трубецкой Е. Н. Смысл жизни. М., 1994. С. 335.

⁸⁵ Там же.

⁸⁶ Трубецкой Е. Н. Старый и новый национальный мессианизм // Трубецкой Е. Н. Смысл жизни. М., 1994. С. 335.

Главный радатель правильной божеской жизни – матушка Антипа Антипыча Пузатова, Степанида Трофимовна. Она помнит, как следует жить по старине, и ругает сына за то, что тот подымается в четыре часа утра, а жена его и вовсе, «грех утаить», в одиннадцатом часу. Она же нахваливает купца-плута Ширялова: «Каждый праздник он в церковь ходит, да придет-то раньше всех; посты держит; Великим постом и чаю не пьет с сахаром – все с медом либо с изюмом. <...> А если и обманет кого, так что за беда!» Бог Пузатовых совсем простой, незамысловатый, нетребовательный, ему легко угодить держанием строгих постов да общим славословием. Но он таинственно непредсказуем: может благословлять или наказывать. Ширялов хвастается: «У нас состояние порядочное, Бог благословил», но тут же и печалится о беспутном сыне: «... наказание божеское». За что-то наказал, за что-то благословил, за что – неведомо. Принимай как есть.

Здесь, у Пузатовых, с Богом живут накоротке, никто его не боится. Это – свойский Бог, Бог для домашнего употребления... Да христианский ли это Бог-то?

Один раз тень Христа вдруг промелькнет в этой пьеске. Хозяин философствует: «Отчего не надуть приятеля, коли рука подойдет. Ничего. Можно. Да уж, матушка, ведь иногда и совесть зазрит». При этих словах Антип Антипыч, по ремарке, «чешет затылок». Что-то такое отдаленно знакомое вспомнилось ненадолго, и зачесалось то место, где, по древним поверьям, душа держит связь с пославшим ее. Но вскоре Пузатов с удовольствием расскажет, как надул торговца-немца, прогнав его вдовавок со словами «отстань ты, Христа ради». Это, вестимо, грехом считаться не может – питомец истинного благочестия имеет право прогнать нечестивого немца-иноземца.

Что-то в этой упрямой и самодовольной жизни надломлено, чего уже не спасешь ни строгим постом, ни ранним вставанием. А все-таки она сильна, спокойна, родственные связи еще крепки, тот, дальний, Бог грехам терпит, а домашний бог (скорее домовый) в дурном расположении немножко наказывает, в хорошем – немножко благословляет.

«Свои люди – сочтемся!» (1849) – пьеса, рекордная по числу упоминаний Бога, Христа, христианства. Бог упоминается шестьдесят девять раз. (Для сравнения: «Бедность не порок» – шестнадцать, «Гроза» – сорок пять, «Снегурочка» – восемнадцать, «Без вины виноватые» – двадцать.) Но история безбожного обмана в одном купеческом семействе – это и история отпадения наследников «старомосковского мессианического самомнения» от Христа.

Понятия, в основном царящие в доме Большова относительно христианства, вполне проясняются репликой Фоминишны, осуждающей некоего благородного жениха: «... христианства-то никакого нет: ни в баню не ходит, ни пирогов по праздникам не печет». Чуть больше знает Аграфена Кондратьевна: «... По христианскому закону всякого накормить следует», но и в этой фразе Христос как-то неумолимо привязан к пище.

Христианство, совмещенное с баней и пирогами, удобно разместилось в прочном отлаженном быте, где на вопрос, как жизнь, непременно отвечают: «Слава Создателю!»

Задумывая аферу с мнимым банкротством, Большов призовет на помощь своего Бога: «Напусти Бог смелости!» Смелости Бог напустил, только привела эта смелость к горестному вопросу того же Самсона Силыча к деткам: «Есть ли в вас христианство?» Униженный и оскорбленный Большов, выбитый из привычной колеи, связывает наконец совесть с Богом: «Знаешь, Лазарь, Иуда, ведь он тоже Христа за деньги продал, как мы совесть за деньги продаем... А что ему за это было?...» Домашний бог постов, бань и пирогов с начинкой оказывается далек от Христа, степенная благочестивая жизнь обнаруживает свою тесную связь с грехом Иуды.

Однако Подхалюзин, обманувший Большова, ничем не обидел морально безразличного бога бань и пирогов. Жизненная энергия – вот единственное мерило, которое признает Бог Подхалюзина. «Не зевай». Точно такой Бог был и у Большова, пока он не очутился в «яме». Так что ответ на вопрос, «есть ли в вас христианство?», заключен в пределах самой

пьесы: в баню ходим, пироги печем, кормим всякого, кто придет в дом (явный отзвук некоего языческого обычая; заметим, что Подхалюзин особенно усердно потчует ограбленного тятеньку), стало быть, такое христианство и есть. Что касается совести, то, как выражается Подхалюзин, «против хорошего человека у всякого совесть есть, а коли он сам других обманывает, так какая же тут совесть!». Притом что жизнь героев «Свои люди – сочтемся!» существует в отпадении от Христа, понятия греха и совести они имеют довольно твердые, просто ненужные в быту, где еще долго надо искать «хорошего человека», чтоб примерить к нему свою совесть.

Несколько иначе приладились к Богу обитатели иной сферы, государственные служащие – чиновники из «Бедной невесты» (1851). По их мнению, все, что происходит, освящено Божьей волей. «Знаете ли, барышня, – говорит Марье Андреевне, бедной невесте, старый друг семейства Добротворский, святая девушку за Беневоленского, деятельность которого вся построена на грехе Иуды, – я вам русскую пословицу скажу: что будет, то будет, а что будет, то Бог даст».

«Ради Бога, дайте мне пожить на свободе!» – молит Марья Андреевна, первая из честных, искренних, простодушных героинь Островского. Ее душевная чистота и неспособность к обману нуждаются в свободе, чтобы вырасти, определиться в отношениях с миром. Но этого не дано – на месте свободы суровая фатальность. «... А что будет, то Бог даст». Если человеческая воля ничего не значит, если все решено заранее, остается одна надежда: этот строгий фатальный облик будущего можно – хитростью – подглядеть. Так, служанка Дарья предлагает Марье Андреевне погадать на картах (важный мотив будущих пьес Островского): «Вот недавно куме Аксинье гадала: все виновный туз выходит. Смотри, говорю, будет тебе горе какое-нибудь. Что ж, барышня, так и есть: шубку новенькую украли». Кто-то с помощью «виновных тузов» предупреждает маленького человека: будет горе. «... А что будет, то Бог даст». «Богом» в «Бедной невесте» называют то, что в следующих пьесах Островского назовут «судьбой», «счастьем», «фортуной». Здесь этих понятий еще нет. Здесь считается, что это Бог привел самодовольного болвана Беневоленского жениться на кроткой Марье Андреевне. Она, бедная, вынуждена искать оправдание такому скверному поступку общего Бога и находит его. Она утешает себя мыслью, что через Беневоленского ей посылается испытание и что она должна сделать из этой скотины хорошего человека...

Душа Марьи Андреевны остается единственным вместилищем, где скрывается окруженный жестокой косностью мира самоотверженный и милосердный христианский Бог.

Марья Андреевна, не рассуждающая о Христе, соединена с ним верными и прочными узами, той единственной приметой, по которой среди героев Островского можно выделить людей Христа, – способностью приносить себя в жертву ради другого.

«Не в свои сани не садись», «Бедность не порок», «Не так живи, как хочется» традиционно считаются созданными под влиянием идей славянофильства, в настроениях почитания патриархальной старины. Конечно, влияние это трудно, даже невозможно отрицать – оно выяснено и продумано многими. Но, на мой взгляд, в идейном комплексе славянофильства, как он сложился в XIX веке, чувства всегда преобладали над разумом. Казалось бы, какая особенная нужда состоит в том, чтобы «защищать защищенное, утверждать утвержденное, ограждать огражденное» (выражение М. Е. Салтыкова-Щедрина по другому поводу) – те же православие, самодержавие и народность. В 40-х годах XIX века им впрямую ничто не угрожало. Но славянофильское движение, особенно в образе «молодой редакции» «Москвитянина», где и состоял Островский, – это вихрь эмоций, лава восклицаний, буря чувств. Молодые люди собираются вместе и поют русские песни так страстно, будто они под суровым цензурным запретом. Запрета нет. Но живые начала духовного обихода русской народности действительно ждет беда неминуемая. И славянофильская страстность – не иначе как предчувствие грядущего.

В славянофильском цикле пьес Островского в общем никаких особых идей и нет. «Помни, Дуня, как любил тебя Ваня Бородин!» «Старомосковское мессианическое самомнение» не определяло духовное обустройство драматурга. Когда в своем творчестве он обратился к нравам допетровской Руси, то изобразил их смело и свободно, поэтически, но без идеализации («Воевода»). Как известно, он объяснял появление пьес-пословиц начала 1850-х годов своим желанием представить публике, что есть в русском человеке хорошего. Желание полемическое, но скромное и мирное.

В этих пьесах сильна надежда на вечно живые начала человеческой нравственности, оформленные и усиленные, но не порожденные религией. Наоборот, они сами делают возможным живое существование религии. Публицист Н. Шелгунов в статье «Бессилие творческой мысли» много погодя упрекает Островского в том, что тот-де верует в какую-то «инстинктивную нравственность», а откуда ей и взяться при скверном социальном устройстве? Достоевский – мыслитель, явно противоположный Шелгунову, – не раз и в романах, и в публицистике поставит человеческую нравственность в прямую зависимость от веры в Бога. Сама по себе вера не спасет человека даже и от смертного греха, как не спасла, скажем, Раскольникова (он ведь верующий «буквально» в «Новый Иерусалим»). Но уж без веры в Бога нравственность невозможна, добродетель немыслима, не говоря о любви к ближнему.

А что такое эта загадочная субстанциальная «инстинктивная нравственность»? Чем ее можно объяснить? Бог вещь. Разве только в том сила и правда Максима Федотыча Русакова («Не в свои сани не садись»), что он набожен или следует заветам Домостроя? Да нет – он просто-напросто хороший человек, добрый человек и любит свою дочь. Подобные люди – питательная основа для роста заветного Бога, которого мы еще не раз встретим у Островского, – милосердного судьи, удерживающего от злобы, мучительства ближнего, несправедливого гнева.

Впервые в этих пьесах Островского запекает свои песни любовь – горячие, сердечные песни (романтическое увлечение «бедной невесты» все-таки не в счет). Бога тут все не поминают, житье ведется не больно строгое, действие пьесы «Бедность не порок» происходит на Святки, «Не так живи, как хочется» – на Масленицу (самые языческие празднества), а сердечного тепла здесь изобильно. Оступившегося прощают, окаянного спасают, душу берегут.

В «Свои люди – сочтемся!» царят внеморальные законы природы, по которым старые и слабые животные обязаны дать дорогу молодым сильным хищникам. Подхалюзин так прямо и говорит Вольтову: «Вы уже отжили свой век». Жестокий, требующий человеческих жертв «Бог» Подхалюзина торжествует, желая смести всякие понятия о другом Боге. Но в пьесах-пословицах Островского начала 1850-х годов духовно-душевное не отъединено от природного – оно и проникает в него, и останавливает, когда надо, и облагораживает. Лучший пример – любовь Мити и Любы из пьесы «Бедность не порок», угодная, кажется, всем богам.

Милосердие в союзе с любовью, душевное в гармонии с природным – об этом приходится забыть в атмосфере «Доходного места» (1856). Мы опять возвращаемся к обезбоженному миру «Бедной невесты», в чьих тисках бьется уже не чистая душа (невеста), а чистый разум (Жадов). Та сила, в которую большинство жителей «Доходного места» действительно веруют, появится в речах главного «философа-богослова» пьесы – Акима Акимыча Юсова. Его богословие носит строго прикладной характер, имея целью одно: оправдать и возвеличить жизнь Акима Акимыча как образец и пример достойнейшей человека жизни. «Мне можно плясать. Я все в жизни сделал, что предписано человеку. У меня душа покойна, сзади ноша не тянет, семейство обеспечил – мне теперь можно плясать. Я теперь только радуюсь на Божий мир! Птичку увижу, и на ту радуюсь, цветок увижу, и на него радуюсь: премудрость во всем вижу».

Чиновничье общежитие слушает его благоговейно: он есть мера и весы в этом диком, незаконном мире. «Не марай чиновников. Ты возьми, так за дело, а не за мошенничество. Возьми так, чтобы и проситель был не обижен и чтобы ты был доволен». Здесь, в этом противопоставлении «правильного» и «неправильного» чиновничьего поведения, когда одни обдирают просителя и ничего не делают для него, а другие берут взятки, но не обижают своих «овец», словно заключен намек на героев «Дела» А. Сухова-Кобылина. Варравин и Тарелкин – разбойники в мундирах государственных служащих, и мораль у них разбойничья. Юсов – другое дело. Он даже дает собственную трактовку евангельской заповеди «Не судите, да не судимы будете»: «Кого мы можем осуждать! Мы не знаем, что еще сами-то будем! Посмеялся ты нынче над пьяницей, а завтра сам, может быть, будешь пьяница; осудишь нынче вора, а, может быть, сам завтра будешь вором. Почем мы знаем свое определение, кому чем быть назначено?»

Если Бог назначает людям быть пьяницами или ворами, он вполне мог назначить Юсова взяточником. Определил, так сказать, к должности, как начальник подчиненного. Чиновничий мир, как и купеческий, вырабатывает своего, «своего» Бога – только не для домашнего употребления, а для служебного. «Для служебного пользования».

В последнем действии пьесы оказывается, что покровитель Юсова Вышневецкий попался на темных делах. Благополучие Юсова под угрозой, потрясены основы существования, и, подобно Самсону Силычу Большову, Юсов начинает вспоминать давно забытое. «Я насчет брэнности... что прочно в жизни сей? С чем придем? С чем предстанем?... <...> В богатстве и в знатности затмение бывает... чувств наших... забываем нищую братию... гордость, плотоугодие... За то и наказание бывает по делам нашим». Заметьте, ему следовало сказать «по грехам нашим», но его «дела» – грехи, а грехи – «дела».

Юсова покарал его личный служебный Бог. За что же? За взятки? Это в моральном миропорядке Юсова грехом не является. «Взятки что-с, маловажная вещь... многие подвержены. Смирения нет, вот главное...» И наконец, юсовский Бог сбрасывает маску, и мы видим, кто он на самом деле. «Судьба все равно что фортуна... как изображается на картине... колесо, и на нем люди... поднимается кверху и опять опускается вниз... <...> (С чувством.) Чуден в свете человек! / Суетится целый век, / Счастия сыскать желает, / А того не вображает, / Что судьба им управляет».

Итак, никакого нет «наказания по делам», а есть колесо Фортуны, вверх и вниз идущее. Пошло вверх – не зевай, пошло вниз – не ропщи. Как вера враждебна суеверию, так идея судьбы враждебна идее суда. Отцы православной веры считали судьбу изобретением демонов, желающих отнять у человека драгоценный дар свободной воли. Недаром Юсов так раздражался возможностью «осуждения». Суд предполагает судью, всеведущего Создателя, вера объясняет мир, его прошлое и настоящее, цели и задачи человеческой жизни. «Судьба» же – псевдоним хаоса, а суеверие – попытка как-то обойти его гнев.

Чем меньше в человеке просвещенного разума или веры, тем более он подвержен суеверию. Гадают и ворожат в пьесах Островского малоразумные персонажи – пустоголовая тетка Дуни Русаковой («Не в свои сани не садись»), Полинька («Доходное место»), Турусина («На всякого мудреца довольно простоты») и тому подобные создания. «Карты никогда не лгут, – возражает Полинька рассудительному мужу. – Ты ведь ничему не веришь, у тебя все вздор; оттого нам и счастья нет». Но и носители просвещенного разума, и неразумные живут в Божьем мире, как его написал Островский, на равных правах. Для неразумных – мир неразумен, чреват постоянными опасностями, подвохами. Так ли уж безнадежны их наивные и отважные попытки приспособиться к хаосу, понять его, приручить маленько?

В пьесе «Тяжелые дни» (1863) купеческий сын Брусков аттестует свою маменьку: «Нынче понедельник – тяжелый день, а маменька этому очень веруют».

Тема обличения суеверий не нова в русской драматургии. Еще Екатерина Вторая в пьесе «О время!» высмеивала русское суеверие в лице госпожи Ханжахиной. Та утверждала: «Сегодня ведь понедельник, да к тому ж и первое число месяца, а я ничего в такие дни никогда не начинаю. Примета худа! Много образцов бывало, да и покойный муж меня утвердил в этом; за десять лет до своей смерти – помяни его, Господи! – предсказал однажды в понедельник, что он умрет. А то и сбылось»⁸⁷. Но просветительский взгляд Екатерины лишь отчасти совпадает с отношением Островского к суеверию. Он посмеивается над ним, но не высмеивает. В течение пьесы «О время!» нет никаких подтверждений верованиям госпожи Ханжахиной, а вот Настасья Панкратьевна верила в тяжелый понедельник неспроста: и впрямь семейству была неприятность, о которой и написана пьеса.

Понедельник, день Луны, всеми астрологическими книгами считается за нелегкий, а желающие могут открыть «Российскую газету» от 5 января 1995 года и прочесть информационное сообщение о статистическом исследовании, проведенном во Франции: оказалось, что наибольшее число травм, чрезвычайных происшествий, самоубийств и т. п. случается... по понедельникам. С чем имеем честь поздравить Настасью Панкратьевну, которая упала бы в обморок от слова «статистика», поскольку тряслась в ужасе еще от «жупела». В отношении Островского к судьбе и суеверию не все рационально, внятно, выговорено, просвечено до дна. Да, судьба и суеверие – удел неразумных. Но разумна ли земная жизнь?

Примета насчет «тяжелого понедельника», даже если она суть осколок некоего древнего знания и может быть прояснена разумом, человеку, верующему во Христа ли, в прогресс ли человечества, – в общем, ни к чему. Но, отмечая почтительные ритуальные жесты хаосу, такой человек остается с ним один на один. Такой битвы одинокому рядовому индивиду не выдержать.

Остался один на один с хаосом герой «Доходного места» Жадов. Это с виду кажется, что житье-бытье чиновничьего мира упорядоченное, основательное. На самом деле жизнь, построенная на плутовстве и обмане, – беззаконная, распутная, хаотическая. Недаром излюбленное место чиновников – трактир (пьянство и распутство – детища хаоса), где непьющий Жадов, поддавшись напору хаоса, запивает горькую...

Ни о какой судьбе речи не ведется ни в «Семейной картине», ни в «Свои люди – сочтемся!», тем более в пьесах о Божьей милости к хорошим людям, знающим, что бедность не порок. Там речь о порядке, о следовании ясным законам, старинным законам. Родители отвечают за детей перед Богом и обязаны разумно распорядиться их жизнью. Это веление Домостроя, почитавшегося в славянофильских кругах за образ старинной правды. Однако эта «старина» – молода-зелена, она – юное нововведение перед лицом куда более древних понятий, рожденных куда более старыми верами и поверьями.

Было ли в пантеоне славянских языческих богов место для судьбы? Крупный исследователь славянского язычества Б. А. Рыбаков считает, что было. «В классической мифологии богинями, которые сочетали бы покровительство изобилию с влиянием на случайности человеческой судьбы, были греческая Тихэ и римская Фортуна. Атрибутом обеих богинь был рог изобилия, связывавший отвлеченное понятие счастливой, удачной судьбы с конкретным земным понятием обилия продовольствия. Такой, судя по всему, была и славянская Макошь»⁸⁸. Правда, некоторые другие исследователи считают, что, напротив, «до греческого воздействия славяне не имели культа судьбы»⁸⁹, но это кажется маловероятным. У народа, живущего земледелием и охотой, не может не возникнуть образ бога, занятого прихотливым распределением земных благ, бога счастья и удачи. Другое дело, что под греческим влия-

⁸⁷ Сочинения Екатерины II. М., 1990. С. 267.

⁸⁸ Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. М., 1994. С. 386.

⁸⁹ Клейн Л. С. Памяти языческого бога Рода // Язычество восточных славян. Л., 1990.

нием образ этого бога стал более четким, а впоследствии все племенные и национальные боги судеб слились в общий образ, зажив под единым именем Фортуны.

Скажем прямо, Тот, Кто превращал воду в вино, кормил пятью хлебами тысячи людей и предлагал уподобиться птицам небесным, никогда не был занят проблемами «обилия продовольствия», отвергал всякую власть случая и судьбы над человеческой жизнью, над жизнью того, кто отдался воле Отца Небесного и верует, что без этой воли с головы не упадет и единый волос. Но в земной жизни вода остается водою, хлеб добывается в поте лица, если не «грехом Иуды», а те, кто уподобляются птицам небесным, живут в нужде и страданиях.

Беда Жадова в том, что он, с христианской отвагой презирая земные блага и «обилие продовольствия», полюбил – то есть отдался на волю древних богов – ту, что скорее признает над собою власть Макоши-Фортуны, чем Отца Небесного. И все-таки после кратковременного падения герой «Доходного места» выходит победителем. То ли свергнутые древние боги ожесточились в новейшие времена, то ли по их, и всегда бывшему таким, капризному нраву, но наказание падает на верных слуг Фортуны Вышневецкого и Юсова, на Белогубова и Юленьку, на всех, кто так величался своим благополучием и своим умением жить. В финале пьесы Жадов вместо гордости проявляет смирение и, что существенно, – двойное смирение. Он покоряется и судьбе, и Богу. «Если судьба приведет есть один черный хлеб – буду есть один черный хлеб. <...> Одного утешения буду просить я у Бога, одной награды буду ждать. <...> Я буду ждать того времени, когда взяточник будет бояться суда общественного больше, чем уголовного», – Жадов собирается, таким образом, ждать времени, когда изменятся общие понятия о Боге.

Явление в творчестве Островского вслед за жителями «Доходного места» героического служителя судьбы – Миши Бальзамина – выглядит закономерным. До «Грозы» написана одна пьеса будущего цикла, где царство судьбы еще слегка ограничено и обуздано моральной рассудительностью заезжего купца Неуеденова. «Словно перо само вывело Островского, – пишет изучавший трилогию Е. С. Калмановский, – по привычке, к такому итогу, к Неуеденову, к здоровой купеческой морали. Потому завершение первой комедии не кажется ни ярким, ни даже сколько-нибудь обязательным соответственно пестротканым прочим сценам»⁹⁰.

Бальзаминов – тоже чиновник, но вовсе крошечный и совершенно беззащитный. Маменька и не думает устраивать участь сына по заветам Домостроя, а разделяет его философию и ждет счастья. Смирненно и кротко ходит каждый день Бальзаминов по Замоскворечью, перед лицом судьбы, лицом хаоса, стараясь обратить на себя их милостивое внимание. В этом абсолютном смирении и самоумалении человека перед высшими силами заключено нечто прямо-таки обезоруживающее, обескураживающее, даже героическое. В отличие от тайных язычников – служителей судьбы, прикрывающихся «Богом», в «Бедной невесте» и «Доходном месте», Бальзаминов всеу Господа не поминает, не освящает его именем своим. Никак себя с ним не сопоставляет, не связывает, ничего не просит. «Умишком-то его очень Бог обидел», – считает маменька, однако никакой ответной обиды Бальзаминов на Бога не держит.

Образуются целая вольная область эдакого «Божьего попущения»; что возьмешь с кроткого жителя Святой Руси, который всего только и знает, что «зимой очень весело на Святках и Масленице». Строгое осуждение Бальзамина домостроевской моралью кажется неуместным: раз уж заведена такая область «Божьего попущения», раз Бог ее допустил быть, к чему судить ее по суровым правилам окостеневшей, застывшей морали. Да и вообще, «где больше строгости, там и греха больше», как скажет ключница Гавриловна в пьесе «Воспитанница» (1858). Жители маленькой вольной области «Божьего попущения» куда счастли-

⁹⁰ Калмановский Е. С. Российские мотивы. СПб.: Логос, 1994. С. 23.

вее всех персонажей, населяющих усадьбу помещицы Уланбековой. У них есть великий дар – свободная воля. И пусть их жизнь неразумна и, значит, по сути, является анархической, это куда лучше «крепости».

«Воспитанница» – единственная пьеса Островского о крепостном праве (в «Воеводе» это одна из тем, не главная). В статье Н. А. Добролюбова «Луч света в темном царстве» находим такое суждение об анархии и законности: «Это (жизнь города Калинова. – Т. М.) не анархия, но нечто еще гораздо худшее. <...> В анархии так уж и нет никакого начала: всяк молодец на свой образец, никто никому не указ <...> Но вообразите – это самое анархическое общество разделилось на две части: одна оставила за собою право озорничать и не знать никакого закона, а другая принуждена признавать законом всякую претензию первой и безропотно сносить все ее капризы, все безобразия»⁹¹.

Добролюбов с помощью Островского выражал свое отношение к русской государственности, бесконечно, по его мнению, озорничавшей над безответным обществом.

Однако, мне кажется, сочетание «крепости» и «анархии» было более сложносочиненным. Усиливая крепостное право, русская государственность надеялась полностью подчинить и обустроить русскую анархию, вольницу, беззаконие. Огнем и мечом выстраивалась та «лестница в небо», о которой повествует воевода Нечай Шалыгин:

Звезда с звездою разнствует во славе;
Так на небе, и на земле все так же:
И старшие, и младшие, и слуги,
И господа, и князи, и бояре,
И Господом венчаные на царство
Великие цари и государи.
За чином чин по лестнице восходит
От нас к царю и от царя до Бога.
И всяка власть от Бога.

Все и всех венчает Бог, свободно творящий свою волю на Божьем свете. Царь подчинен Богу, но свободно творит свою волю в своем царстве. Ниже – слуги царя, бояре и воеводы, подчиненные Богу и царю, но свободные на своем «участке воли». Ниже – подопечные бояр и воевод, свободные в своих занятиях и своем семействе. Но вот уже самый низ – крепостные крестьяне и семейные женщины, подчиненные всем. Вне лестницы – разбой, анархия, произвол. Но и чада высшего закона – церковь, монастырь, пустыня. Оттого-то разбойнику легко повстречаться с пустынником, а то и обратиться в него. Обе роли в стороне от крепостной «лестницы в небо», где каждый и раб, и царь, и слуга, и господин. В своем уделе, где «до Бога высоко, до царя далеко», можно счесть самого себя и царем, и Богом. Помещица Уланбекова в «Воспитаннице» скажет: «Что я сказала, то и свято». Не учтена в крепостной лестнице живая и свободная человеческая воля. Если признать, что так тому и быть, так и надо, то придется и Бога, согласившегося венчать эту лестницу, счесть... главным самодуром, отцом-покровителем подчиненных ему самодуров. Порядок, уродующий людей и приносящий им страдания, – не порядок вовсе, а «насмешка и дьяволов водевил», по выражению Достоевского. Стало быть, там, наверху, страшно вымолвить, – кто там вместо Бога?

«Воспитанница» – наверное, самая неутешительная пьеса Островского – предшествует «Грозе». Но в известном смысле все пьесы Островского 1847–1858 годов можно назвать предшествующими «Грозе», при всей их самоценности. «Гроза» итожит значительный период духовных исканий Островского. «Бог», выработанный в русском общежитии

⁹¹ Цит по: Драма А. Н. Островского «Гроза» в русской критике. Л., 1990. С. 216.

и прилаженный к духовному быту и обиходу людей, не может быть назван совершенно христианским. Единожды христианский Бог властно вмешивается в ход событий – в пьесе «Не так живи, как хочется», где колокольным звоном над Москва-рекой спасена заблудшая душа гуляки Петра Ильича. Тень Христа встает перед наследниками «мессианического самомнения», когда они вспоминают, будучи в крайних обстоятельствах, о «грехе Иуды». Не чужды героям Островского начала «инстинктивной нравственности», выраженные в индивидуальном душевном подвиге милосердия и самоотречения. Но большинство обитателей пьес Островского нажили другого «Бога», покровительствующего жизненной силе, житейскому «аппетиту». В качестве осколка древней веры этот «Бог» может быть и безобидным, и веселым, если вспомнить языческий разгул праздника в пьесе «Бедность не порок». А может обернуться и жестокостью, самодурством, моральным безразличием и беззаконием.

В «Грозе» прозвучат в полную силу все темы и мотивы «русской веры» и «русских богов», кроме темы судьбы, счастья, удачи, Фортуны. Ей нет места в мире «Грозы».

2. Грозный палач, милосердный судья. Бог «Грозы» (1859)

Подобна разнообразию самоцветных камней и житейская, и духовная многоукладность русской жизни, русской народности в «Грозе». Так или иначе все обитатели Калинова живут «с Богом». Этих богов невозможно свести в единое целое.

М. М. Достоевский, критик, современник Островского, нашел, что у Катерины Кабановой и Марфы Игнатьевны Кабановой Бог – один: «Смотрят на жизнь они совершенно одинаково, веруют и поклоняются одному и тому же»⁹². Коли у Катерины и Кабанихи один Бог – гневный, безжалостный мучитель, то и пьеса обращается в моралите о вреде свиданий в оврагах. Перед этим Богом Катерина согрешила, покаялась и наказала самое себя.

Но это суждение из редких. В основном читатели, критики, зрители, режиссеры, актеры признают очевидное противостояние – и житейское, и духовное – Катерины и Кабанихи. Многие писавшие о «Грозе» сразу после премьеры пьесы в театрах назвали быт семейства Кабановых старообрядческим. «Богатая купеческая вдова, Кабанова, проникнутая староверческими убеждениями...» (А. С. Гиероглифов)⁹³; «... быт калиновских старообрядцев...» (М. И. Дараган)⁹⁴; «... дома обывателей выстроены прочно, с крепкими воротами, как у раскольников» (С. С. Дудышкин)⁹⁵; наконец, П. И. Мельников-Печерский, известный писатель, знаток быта раскольников, утверждает: «... хотя г. Островский... <...>... и не упомянул нигде, что это семейство раскольниковое, но опытный глаз даже и на сцене Александринского театра, где, кажется, ни режиссеру, ни артистам не пришло на мысль придать раскольниковый колорит... <...>... с первого взгляда заметил, что Кабаниха придерживается правил Аввакума и его последователей»⁹⁶.

Видимо, та обрядовая строгость, на которой настаивает Кабаниха, даже в небольшом волжском городке 1859 года была достаточно исключительной. Марфа Игнатьевна – единственная в пьесе хранительница допетровской, нетронутой веры и последний оплот «старомосковского мессианического самомнения». Поддерживает ее странница Феклуша (этот образ вызвал у Мельникова-Печерского ассоциации со «скитами керженскими и чернораменскими»); но Феклуша – лицо, настроенное поэтически, она сказительница, живущая на подаяния, зависимая от своей «публики».

⁹² Цит по: Драма А. Н. Островского «Гроза» в русской критике. Л., 1990. С. 150.

⁹³ Цит по: Драма А. Н. Островского «Гроза» в русской критике. Л., 1990. С. 32.

⁹⁴ Там же. С. 47.

⁹⁵ Там же. С. 69.

⁹⁶ Там же. С. 109.

Бог Катерины заметно иной. Вот как рассуждает о нем исследователь Ю. В. Лебедев: «... мирозерцанию Катерины неприемлем далекий и страшный Бог Кабановых. <...>... в вещих снах видятся Катерине не последние времена, а земля обетованная. <...>... в ее душе играет более живая и свободная религия. <...>... в мечтах Катерины есть отзвук христианской легенды о рае, о божественном саде Эдема»⁹⁷.

Источник этих рассуждений – рассказ героини о своей юности в седьмом явлении первого действия. Рассказ поразительного свойства: он плавно и постепенно уводит нас от земли к небу. Сначала Катерина описывает домашний быт своего детства, как протекал день в доме у маменьки: «Встану я, бывало, рано; коли летом, так схожу на ключок, умоюсь, принесу с собой водицы и все, все цветы в доме полью. У меня цветов было много-много. Потом пойдем с маменькой в церковь, все и странницы – у нас полон дом был странниц да богомолков. А придем из церкви, сядем за какую-нибудь работу, больше по бархату золотом, а странницы станут рассказывать: где они были, что видели, жития разные, либо стихи поют. Так до обеда время и пройдет. Тут старухи уснуть лягут, а я по саду гуляю. Потом к вечерне, а вечером опять рассказы да пение».

Чудесное, но земное еще житье: цветы и вода, бархат и золото, лето и сад, стихи и пение – собраны самые светлые нити земной пряжи, самое хорошее и ласковое, что в ней есть.

От светлого домашнего житья легко взмыть выше, в церковь, туда, где земля соединяется с небом: «И до смерти я любила в церковь ходить! Точно, бывало, я в рай войду, и не вижу никого, и время не помню, и не слышу, когда служба кончится. Маменька говорила, что все, бывало, смотрят на меня, что со мной делается! А знаешь: в солнечный день из купола такой светлый столб вниз идет, и в столбе ходит дым, точно облака, и вижу я, бывало, будто ангелы в том столбе летают и поют».

Почти вовсе избавившись от материальной оболочки, превратившись в чистую душу, по светлому столбу взбирается Катерина еще выше: «А какие сны мне снились, Варенька, какие сны! Или храмы золотые, и сады какие-то необыкновенные, и все поют невидимые голоса, и кипарисом пахнет, и горы и деревья будто не такие, как обыкновенно, а как на образах пишутся. А то будто я летаю, так и летаю по воздуху».

Ни о маменьке, ни о родительском доме Катерина более не вспомнит. Вообще, когда у героини Островского случается какое-либо семейное расстройство, их первая мысль – вернуться в родительский дом. Но в этот дом возврата нет. Точно он и не на земле был вовсе, точно душа Катерины с неба упала.

Тяжко придется душе, упавшей с подобных высот в Калинов. Ее мир и ее вера были непротиворечивы, цельны. «В мироощущении Катерины, – пишет Ю. Лебедев, – гармонически сочетается славянская языческая древность... <...>... с демократическими веяниями христианской культуры»⁹⁸.

Упоминание демократизма в этом контексте кажется лишним, ведь и язычество было вполне «демократическим». А замечание о гармонии кажется верным: Бог Катерины неотделим от «солнышка». «... Рано утром в сад уйду, еще только солнышко восходит, упаду на колена, молюсь и плачу...»: ангелов она видит «в солнечный день».

То ли в далеком прошлом, то ли в мечтах о будущем в народном мироощущении слились Христос и солнце. Духовное сплелось с природным и облагородило, осветило его. Может статься, так было; можно надеяться, так будет. Но то состояние русского мира, в которое спустилась душа-Катерина, далеко от гармонии, от слияния и примирения духа и природы.

⁹⁷ Лебедев Ю. В. О народности «Грозы», «русской трагедии» А. И. Островского // Русская литература. 1981. № 1. С. 22.

⁹⁸ Лебедев Ю. В. О народности «Грозы», «русской трагедии» А. И. Островского // Русская литература. 1981. № 1. С. 21.

Самый решительный разрыв духа и природы описан, конечно, в творчестве Достоевского. Обострение духа неминуемо ведет к отпадению от природы. «Взойдет солнце: посмотрите, разве оно не мертвец? Одни только люди, а кругом них молчание – вот земля», – скажет герой рассказа «Кроткая». Восхода солнца будет ждать Ипполит из романа «Идиот», чтобы после чтения исповедального дневника, «покаяния на миру», застрелиться. Многие герои Достоевского предъявляют строгий счет природе – неумолимому тарантулу, казнящему людей, не пощадившему и самого Христа. Но и «живая жизнь», любовь, солнце, «клеящие листочки» для них в таком случае становятся невероятным и совершенно недостижимым счастьем. Значит, дух виноват в невозможности жить в мире с собою и природой?

В. В. Розанов в книге «Темный лик» отважно пойдет до конца, выговорит последние слова. Христос – враждебен миру: он против всего, что дорого и мило человеку в земной жизни, против любви, рождения детей, семьи, он объявил злом и грехом все, что ему не подчинено; он уродует человека, заставляя того бояться, стыдиться, презирать собственную природу. В последней книге своей «Апокалипсис нашего времени» Розанов завершит поиски своего Бога отчаянным возгласом: «Попробуйте распять солнце, и вы увидите – который Бог»⁹⁹.

Трагический тупик! Предпочтешь солнце и природу – отъединишься от духа и Христа. Уйдешь к духу и Христу – отпадешь от солнца и природы. Боги ссорятся, людям горе.

Но тема ссоры богов возникает в творчестве Островского позже. Калиновское состояние «русского космоса» – напряженно-тревожное сожительство богов, довольно-таки враждебно охраняющих границы своих владений.

В домах живет мрачный и строгий Бог Кабанихи, опирающийся на заветы Домостроя.

Отношение русских просвещенных людей к Домострою в новые времена бывало разным. Есть и мнение о том, что книга эта хорошая, полезная, много способствовавшая укреплению русской семейственности в свое время. Тут, конечно, есть определенная путаница понятий. Представьте себе, что подобная книга вышла в Англии и предписывает англичанам способы поведения в домашнем быту. Англичане сочли бы такую книгу юмористической. Но идея нравственности, спущенной сверху, внедренной по указу, конечно, не чужда русским и не смешна им.

Мне ближе всего та оценка Домостроя, которую дает в книге «Роза мира» выдающийся русский мистик Даниил Андреев, собиратель и истолкователь всех духовных поисков человечества. «Домострой, – пишет он, – есть попытка создания грандиозного религиозно-нравственного кодекса, который должен был установить и внедрить в жизнь именно идеалы мирской, семейной, общественной нравственности. <...> Сильвестру, как известно, удалось сложить довольно плотно сколоченную, крепкую на вид, совершенно плоскую систему, поражающую своей безблагодатностью. <...> Совсем другой дух: безмерно самонадеянный, навязчиво-требовательный, самовлюбленно-доктринерский, ханжески прикрывающий идеал общественной неподвижности личиной богоугодного укрепления общественной гармонии – гармонии, которой в реальной жизни не было и помину. <...> В последующие эпохи мы еще не раз встретимся с этим тяжеловесным, приземистым, волевым духом: духом демона государственности»¹⁰⁰.

Что домостроевский Бог, венчающий крепостную «лестницу в небо», есть на самом деле невесть кто, я писала в связи с «Воспитанницей». Вот и Андреев считает, что опора патриархальной старины и «мессианического самомнения» инспирирована особым «демоном государственности». Мистическое учение Андреева предполагает государственность исключительной специализацией демонов. Это убедительно отражает умонастроение рус-

⁹⁹ См.: Розанов В. В. Апокалипсис нашего времени // Розанов В. В. Мимолетное. М., 1994. С. 465.

¹⁰⁰ Андреев Д. Л. Роза мира. М., 1991. С. 135–136.

ского интеллигента в XX веке, но, конечно, никаких тому доказательств мы не имеем, кроме четкого ощущения, что русская государственность в ее исторической перспективе не есть сугубая область Божьего строительства. Тем не менее превращение общинного русского Бога в русского демона кажется не визионерской сказкой, а жестокой правдой.

«Тяжеловесный, приземистый, волевой» дух пришелся по нраву, по вкусу, по нутру на Руси. Без опоры в человеческом общежитии этому богу-демону не было бы никакой пищи. Но тяжеловесные, приземистые, безблагодатные натуры вроде Кабанихи сочетались с ним гармоническими узлами.

Свидетельство тому, что эти рассуждения вдохновлены драматургией Островского и не навязаны его мировоззрению, – персонаж, очень родственный Марфе Игнатьевне Кабановой. Это Снафидина, мать Ксении, героини последней пьесы Островского «Не от мира сего». Зять аттестует ее так: «... теща моя очень богата, но порядочная ханжа, женщина с предрассудками и причудами какого-то особого старообрядческого оттенка. <...> Сама-то она из купеческого рода...» Другой персонаж рассказывает о Снафидиной: «В этом семействе добродетели довольно суровые, старинные: и отречение от удовольствий, и строгое воздержание в пище, постничанье...»

Снафидина мало участвует в непосредственном действии пьесы. Скорее всего, она нужна Островскому, дабы подвести итог, сказать последние слова о подобном роде нравственности. «Один закон только и есть, – толкует Снафидина, – чтоб дети повиновались своим родителям. <...>... я свои права знаю; я за дочерей должна на том свете отвечать». Она считает себя вправе даже убить свою дочь, потому что «я убью ее тело, но спасу душу». Вполне в духе той морали, которая приказывала вырвать глаз, если он соблазняет, морали, обратившей все поэтические выражения евангельского Христа в руководство к действию и метод государственного и общественного строительства.

«Я ее (дочь – *Т. М.*) очень люблю; а уж как в детстве любила... <...> Я просила, я молилась, чтобы она умерла. <...> Тогда бы уж туда прямо во всей своей младенческой непорочности». Какая злая пародия на христианскую идеологию! Трудно принять такую нравственность и такого Бога. «Нет, – замечает дочь Снафидиной Ксения, – они (маменька – *Т. М.*) от настоящей нравственности куда-то в сторону ушли. Их кто-нибудь путает». «В сторону ушли». «Их кто-нибудь путает». Кто ж их может путать, как не великий путаник, дух подмены, отец лжи и враг рода человеческого?

Крепко писан Домострой, крепко строены дома в Калинове. Только живет в домах ревниво оберегаемый дух человеконенавистничества. «У всех давно ворота, сударь, заперты и собаки спущены, – рассказывает Кулигин Борису. – Вы думаете, они дело делают либо Богу молятся? Нет, сударь! И не от воров они запираются, а чтоб люди не видали, как они своих домашних едят поедом да семью тиранят. И что слез льется за этими запорами, невидимых и неслышимых! <...> И что, сударь, за этими замками разврату темного да пьянства! И все шито и крыто – никто ничего не видит и не знает, видит один только Бог!»

Это в домах. Дома же окружены вольной волюшкой природы, царством ветхих стихий, увенчанной державной силой древних богов: грозы, солнца. Вне дома и вне природы стоит церковь. Древние боги не заходят в дома, не заглядывают в церковь. Но все, что происходит на воле, на природе, – то в их власти, и вмешательства они не потерпят. И надо сказать, демоны домов дипломатично уступают древним богам их древнюю долю.

Толкуя дальше о солнце, разъясню: имеется в виду Ярило-Солнце, в значительной мере сотворенный Островским, бог, покровительствующий любви – молодой, горячей, страстной, земной любви, требующий ее от своих подданных властно и гневно.

Возражая тем критикам, которые удивлялись, отчего девица Варвара преспокойно гуляет с Кудряшом и явно их отношения не невинны, Мельников-Печерский пишет: «Господа критики, конечно, не знают, что у нас весной бывают в разных местах гулянья на Яриле,

гулянья на Бисерихе, на которые нет ходу ни женатым мужчинам, ни замужним женщинам, и что эти гулянья непременно оканчиваются сценами, какие бывали на классической почве Эллады в роще Аонид»¹⁰¹.

¹⁰¹ Цит. по: Драма А. Н. Островского «Гроза» в русской критике. Л., 1990. С. 109.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.